ПОЛНАЯ

ХРЕСТОМАТИЯ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

2 класс

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Полная хрестоматия составлена в соответствии с программой по литературе для начальных классов общеобразовательной средней школы, утвержденной Министерством образования РФ.

- Полная хрестоматия для начальной школы. 2 класс
  -
  - Русское народное творчество
    - Сказки
      - Финист – ясный сокол
  - Русская литература XIX века
    - Всеволод Михайлович Гаршин
      - Лягушка-путешественница
    - Владимир Иванович Даль
      - Приведредница
    - Петр Павлович Ершов
      - Конек-горбунок
        - Часть первая
        - Часть вторая
        - Часть третья
    - Василий Андреевич Жуковский
      - Кот в сапогах
    - Михаил Юрьевич Лермонтов
      - Утес
    - Николай Алексеевич Некрасов
      - Дедушка Мазай и зайцы
        - 1
        - 2
    - Владимир Федорович Одоевский
      - Городок в табакерке
      - Игоша
    - Алексей Николаевич Плещеев
      - Сельская песня
    - Александр Сергеевич Пушкин
      - * * *
      - Сказка о рыбаке и рыбке
    - Иван Захарович Суриков
      - Рябина
    - Алексей Константинович Толстой
      - * * *
    - Лев Николаевич Толстой
      - Акула

- Липунюшка
- Федор Иванович Тютчев
  - * * *
- Русская литература XX века
  - Константин Дмитриевич Бальмонт
    - Снежинка
  - Агния Львовна Барто
    - Очки
  - Валентин Дмитриевич Берестов
    - Как найти дорожку
  - Виталий Валентинович Бианки
    - Мышонок Пик
      - Как мышонок попал в мореплаватели
      - Кораблекрушение
      - Страшная ночь
      - Хвост-цеплялка и шёрстка-невидимка
      - «Соловей-разбойник»
      - Конец путешествия
      - Постройка дома
      - Незваный гость
      - Кладовая
      - Снег и сон
      - Ужасное пробуждение
      - По снегу и по льду
      - Из беды в беду
      - Горе-музыкант
      - Мышеловка
      - Музыка
      - Хороший конец
  - Аркадий Петрович Гайдар (Голиков)
    - Чук и Гек
  - Виктор Юзефович Драгунский
    - Друг детства
  - Борис Степанович Житков
    - Над водой
    - Пожар
  - Борис Владимирович Заходер
    - Серая Звездочка
  - Самуил Яковлевич Маршак
    - Знаки препинания
    - Пудель
      -
      - * * *
      - * * *

- * * *
- * * *
- * * *
- * * *
- * * *

- Константин Георгиевич Паустовский
  - Прощание с летом
- Михаил Михайлович Пришвин
  - Лисичкин хлеб
- Николай Иванович Сладков
  - Лесные шорохи
    - Белка и Медведь
    - Сорока и Заяц
    - Одуванчик и Дождь
    - Кто как спит
    - Лисица и Ёж
    - Крот и Филин
- Владимир Григорьевич Сутеев
  - Под грибом
- Ирина Петровна ТОКМАКОВА
  - Усни-трава
- Саша Чёрный (Александр Михайлович Гликберг)
  - Что кому нравится
- Корней Иванович Чуковский
  - Айболит
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9

○ Зарубежная литература
- Астрид Линдгрен
  - Крошка Нильс Карлсон
- Алан Александр Милн
  - Баллада о королевском бутерброде
- Шарль Перро
  - Золушка
    -
    - Мораль
    - Иная мораль

- Красная Шапочка
- Чеслав Янчарский
  - В магазине игрушек
  - Друзья
  - Игры

Полная хрестоматия для начальной школы. 2 класс
Автор-составитель Николай Владимирович Белов

Охраняется законом об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

Русское народное творчество

Сказки

Финист – ясный сокол

Жил да был крестьянин. Умерла у него жена, осталось три дочки. Хотел старик нанять работницу – в хозяйстве помогать. Но меньшая дочь, Марьюшка, сказала:

– Не надо, батюшка, нанимать работницу, сама я буду хозяйство вести.

Ладно. Стала дочка Марьюшка хозяйство вести. Все-то она умеет, все-то у нее ладится. Любил отец Марьюшку: рад был, что такая умная да работящая дочка растет. Из себя-то Марьюшка красавица писаная. А сестры ее завидущие да жаднющие, из себя-то они некрасивые, а модницы-перемодницы – весь день сидят да белятся, да румянятся, да в обновки наряжаются, платье им – не платье, сапожки – не сапожки, платок – не платок.

Поехал отец на базар и спрашивает дочек:

– Что вам, дочки, купить, чем порадовать?

И говорят старшая и средняя дочки:

– Купи по полушалку, да такому, чтобы цветы покрупнее, золотом расписанные.

А Марьюшка стоит да молчит. Спрашивает ее отец:

– А что тебе, доченька, купить?

– Купи мне, батюшка, перышко Финиста – ясна сокола.

Приезжает отец, привозит дочкам полушалки, а перышка не нашел.

Поехал отец в другой раз на базар.

– Ну, – говорит, – дочки, заказывайте подарки.

Обрадовались старшая и средняя дочки:

– Купи нам по сапожкам с серебряными подковками.

А Марьюшка опять заказывает:

– Купи мне, батюшка, перышко Финиста – ясна сокола.

Ходил отец весь день, сапожки купил, а перышка не нашел. Приехал без перышка.

Ладно. Поехал старик в третий раз на базар, а старшая и средняя дочки говорят:

– Купи нам по платью.

А Марьюшка опять просит:

– Батюшка, купи перышко Финиста – ясна сокола.

Ходил отец весь день, а перышка не нашел. Выехал из города, а навстречу старенький старичок.

– Здорово, дедушка!

– Здравствуй, милый! Куда путь-дорогу держишь?

– К себе, дедушка, в деревню. Да вот горе у меня: меньшая дочка наказывала купить перышко Финиста – ясна сокола, а я не нашел.

– Есть у меня такое перышко, да оно заветное; но для доброго человека, куда ни шло, отдам.

Вынул дедушка перышко и подает, а оно самое обыкновенное. Едет крестьянин и думает: «Что в нем Марьюшка нашла хорошего!»

Привез старик подарки дочкам, старшая и средняя наряжаются да над Марьюшкой смеются:

– Как была ты дурочка, так и есть. Нацепи свое перышко в волоса да красуйся!

Промолчала Марьюшка, отошла в сторону, а когда все спать полегли, бросила Марьюшка перышко на пол и проговорила:

– Любезный Финист – ясный сокол, явись ко мне, жданный мой жених!

И явился ей молодец красоты неописанной. К утру молодец ударился об пол и сделался соколом. Отворила ему Марьюшка окно, и улетел сокол к синему небу.

Три дня Марьюшка привечала к себе молодца; днем он летает соколом по синему поднебесью, а к ночи прилетает к Марьюшке и делается добрым молодцем.

На четвертый день сестры злые заметили – наговорили отцу на сестру.

– Милые дочки, – говорит отец, – смотрите лучше за собой.

«Ладно, – думают сестры, – посмотрим, как будет дальше».

Натыкали они в раму острых ножей, а сами притаились, смотрят. Вот летит ясный сокол. Долетел до окна и не может попасть в комнату Марьюшки. Бился-бился, всю грудь изрезал, а Марьюшка спит и не слышит.

И сказал тогда сокол:

– Кому я нужен, тот меня найдет. Но это будет нелегко. Тогда меня найдешь, когда трое башмаков железных износишь, трое посохов железных изломаешь, трое колпаков железных порвешь.

Услышала это Марьюшка, вскочила с кровати, посмотрела в окно, а сокола нет, и только кровавый след на окне остался. Заплакала Марьюшка горькими слезами – смыла слезками кровавый след и стала еще краше.

Пошла она к отцу и проговорила:

– Не брани меня, батюшка, отпусти в путь-дорогу дальнюю. Жива буду – свидимся, умру – так, знать, на роду написано.

Жалко было отцу отпускать любимую дочку, но отпустил.

Заказала Марьюшка трое башмаков железных, трое посохов

железных, трое колпаков железных и отправилась в путь-дорогу дальнюю, искать желанного Финиста – ясна сокола. Шла она чистым полем, шла темным лесом, высокими горами. Птички веселыми песнями ей сердце радовали, ручейки лицо белое умывали, леса темные привечали. И никто не мог Марьюшку тронуть: волки серые, медведи, лисицы – все звери к ней сбегались. Износила она башмаки железные, посох железный изломала и колпак железный порвала.

И вот выходит Марьюшка на поляну и видит: стоит избушка на курьих ножках – вертится. Говорит Марьюшка:

– Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом! Мне в тебя лезть, хлеба есть.

Повернулась избушка к лесу задом, к Марьюшке передом. Зашла Марьюшка в избушку и видит: сидит там Баба-яга – костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос.

Увидела Баба-яга Марьюшку, зашумела:

– Тьфу, тьфу, русским духом пахнет! Красная девушка, дело пытаешь аль от дела лытаешь?

– Ищу, бабушка, Финиста – ясна сокола.

– О, красавица, долго тебе искать! Твой ясный сокол за тридевять земель, в тридевятом государстве. Опоила его зельем царица-волшебница и женила на себе. Но я тебе помогу. Вот тебе серебряное блюдечко и золотое яичко. Когда придешь в тридевятое царство, наймись работницей к царице. Покончишь работу – бери блюдечко, клади золотое яичко, само будет кататься. Станут покупать – не продавай. Просись Финиста – ясна сокола повидать.

Поблагодарила Марьюшка Бабу-ягу и пошла. Потемнел лес, страшно стало Марьюшке, боится и шагнуть, а навстречу кот. Прыгнул к Марьюшке и замурлыкал:

– Не бойся, Марьюшка, иди вперед. Будет еще страшнее, а ты иди и иди, не оглядывайся.

Потерся кот спинкой и был таков, а Марьюшка пошла дальше. А лес стал еще темней.

Шла, шла Марьюшка, сапоги железные износила, посох поломала, колпак порвала и пришла к избушке на курьих ножках. Вокруг тын, на кольях черепа, и каждый череп огнем горит.

Говорит Марьюшка:

– Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом! Мне в тебя лезть, хлеба есть.

Повернулась избушка к лесу задом, к Марьюшке передом. Зашла Марьюшка в избушку и видит: сидит там Баба-яга – костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к

потолку прирос.

Увидела Баба-яга Марьюшку, зашумела:

– Тьфу, тьфу, русским духом пахнет! Красная девушка, дело пытаешь аль от дела лытаешь?

– Ищу, бабушка, Финиста – ясна сокола.

– А у моей сестры была?

– Была, бабушка.

– Ладно, красавица, помогу тебе, бери серебряные пяльцы, золотую иголочку. Иголочка сама будет вышивать серебром и золотом по малиновому бархату. Будут покупать – не продавай. Просись Финиста – ясна сокола повидать.

Поблагодарила Марьюшка бабу-ягу и пошла. А в лесу стук, гром, свист, черепа лес освещают. Страшно стало Марьюшке. Глядь, собака бежит:

– Ав, ав, Марьюшка, не бойся, родная, иди! Будет еще страшнее, не оглядывайся.

Сказала и была такова. Пошла Марьюшка, а лес стал еще темнее. За ноги ее цепляет, за рукава хватает… Идет Марьюшка, идет и назад не оглянется.

Долго ли, коротко ли шла – башмаки железные износила, посох железный поломала, колпак железный порвала. Вышла на полянку, а на полянке избушка на курьих ножках, вокруг тын, а на кольях лошадиные черепа; каждый череп огнем горит.

Говорит Марьюшка:

– Избушка, избушка, встань к лесу задом, а ко мне передом!

Повернулась избушка к лесу задом, к Марьюшке передом. Зашла Марьюшка в избушку и видит: сидит Баба-яга – костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Сама черная, а во рту один клык торчит.

Увидела Баба-яга Марьюшку, зашумела:

– Тьфу, тьфу, русским духом пахнет! Красная девушка, дело пытаешь аль от дела лытаешь?

– Ищу, бабушка, Финиста – ясна сокола.

– Трудно, красавица, тебе будет его отыскать, да я помогу. Вот тебе серебряное донце, золотое веретенце. Бери в руки, само прясть будет, потянется нитка не простая, а золотая.

– Спасибо тебе, бабушка.

– Ладно, спасибо после скажешь, а теперь слушай, что тебе накажу: будут золотое веретенце покупать – не продавай, а просись Финиста – ясна сокола повидать.

Поблагодарила Марьюшка Бабу-ягу и пошла, а лес зашумел, загудел: поднялся свист, совы закружились, мыши из нор повылезли – да все на Марьюшку. И видит Марьюшка – бежит навстречу серый волк.

– Не горюй, – говорит он, – а садись на меня и не оглядывайся.

Села Марьюшка на серого волка, и только ее и видели. Впереди степи широкие, луга бархатные, реки медовые, берега кисельные, горы в облака упираются. А Марьюшка скачет и скачет. И вот перед Марьюшкой хрустальный терем. Крыльцо резное, оконца узорчатые, а в оконце царица глядит.

– Ну, – говорит волк, – слезай, Марьюшка, иди и нанимайся в прислуги.

Слезла Марьюшка, узелок взяла, поблагодарила волка и пошла к хрустальному дворцу. Поклонилась Марьюшка царице и говорит:

– Не знаю, как вас звать, как величать, а не нужна ли вам будет работница?

Отвечает царица:

– Давно я ищу работницу, но такую, которая могла бы прясть, ткать, вышивать.

– Все это я могу делать.

– Тогда проходи и садись за работу.

И стала Марьюшка работницей. День работает, а наступит ночь – возьмет Марьюшка серебряное блюдечко и золотое яичко и скажет:

– Катись, катись, золотое яичко, по серебряному блюдечку, покажи мне моего милого.

Покатится яичко по серебряному блюдечку, и предстанет Финист – ясный сокол. Смотрит на него Марьюшка и слезами заливается:

– Финист, мой Финист – ясный сокол, зачем ты меня оставил одну, горькую, о тебе плакать!

Подслушала царица ее слова и говорит:

– Продай ты мне, Марьюшка, серебряное блюдечко и золотое яичко.

– Нет, – говорит Марьюшка, – они непродажные. Могу я тебе их отдать, если позволишь на Финиста – ясна сокола поглядеть.

Подумала царица, подумала.

– Ладно, – говорит, – так и быть. Ночью, как он уснет, я тебе его покажу.

Наступила ночь, и идет Марьюшка в спальню к Финисту – ясну соколу. Видит она – спит ее сердечный друг сном непробудным. Смотрит Марьюшка, не насмотрится, целует в уста сахарные, прижимает к груди белой, – спит, не пробудится сердечный друг.

Наступило утро, а Марьюшка не добудилась милого…

Целый день работала Марьюшка, а вечером взяла серебряные

пяльцы да золотую иголочку. Сидит вышивает, сама приговаривает:

– Вышивайся, вышивайся, узор, для Финиста – ясна сокола. Было бы чем ему по утрам вытираться.

Подслушала царица и говорит:

– Продай, Марьюшка, серебряные пяльцы, золотую иголочку.

– Я не продам, – говорит Марьюшка, – а так отдам, разреши только с Финистом – ясным соколом свидеться.

Подумала та, подумала.

– Ладно, – говорит, – так и быть, приходи ночью.

Наступает ночь. Входит Марьюшка в спаленку к Финисту – ясну соколу, а тот спит сном непробудным.

– Финист ты мой, ясный сокол, встань, пробудись!

Спит Финист – ясный сокол крепким сном. Будила его Марьюшка – не добудилась.

Наступает день.

Сидит Марьюшка за работой, берет в руки серебряное донце, золотое веретенце. А царица увидала:

– Продай да продай!

– Продать не продам, а могу и так отдать, если позволишь с Финистом – ясным соколом хоть часок побыть.

– Ладно, – говорит та.

А сама думает: «Все равно не разбудит».

Настала ночь. Входит Марьюшка в спальню к Финисту – ясну соколу, а тот спит сном непробудным.

– Финист ты мой, ясный сокол, встань, пробудись!

Спит Финист, не просыпается.

Будила, будила – никак не может добудиться, а рассвет близко.

Заплакала Марьюшка:

– Любезный ты мой Финист – ясный сокол, встань, пробудись, на Марьюшку свою погляди, к сердцу своему ее прижми!

Упала Марьюшкина слеза на голое плечо Финиста – ясна сокола и обожгла. Очнулся Финист – ясный сокол, осмотрелся и видит Марьюшку. Обнял ее, поцеловал:

– Неужели это ты, Марьюшка! Трое башмаков износила, трое посохов железных изломала, трое колпаков железных поистрепала и меня нашла? Поедем же теперь на родину.

Стали они домой собираться, а царица увидела и приказала в трубы трубить, об измене своего мужа оповестить.

Собрались князья да купцы, стали совет держать, как Финиста – ясна сокола наказать.

Тогда Финист – ясный сокол говорит:

– Которая, по-вашему, настоящая жена: та ли, что крепко

любит, или та, что продает да обманывает?

Согласились все, что жена Финиста – ясна сокола – Марьюшка.

И стали они жить-поживать да добра наживать. Поехали в свое государство, пир собрали, в трубы затрубили, в пушки запалили, и был пир такой, что и теперь помнят.

Русская литература XIX века

Всеволод Михайлович Гаршин (1855 – 1888)

Лягушка-путешественница

Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров да мошку, весною громко квакала вместе со своими подругами. И весь век она прожила бы благополучно – конечно, в том случае, если бы не съел ее аист. Но случилось одно происшествие.

Однажды она сидела на сучке высунувшейся из воды коряги и наслаждалась теплым мелким дождиком.

«Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода! – думала она. – Какое это наслаждение – жить на свете!»

Дождик моросил по ее пестренькой лакированной спинке; капли его подтекали ей под брюшко и за лапки, и это было восхитительно приятно, так приятно, что она чуть-чуть не заквакала, но, к счастью, вспомнила, что была уже осень и что осенью лягушки не квакают, – на это есть весна, – и что, заквакав, она может уронить свое лягушачье достоинство. Поэтому она промолчала и продолжала нежиться.

Вдруг тонкий, свистящий, прерывистый звук раздался в воздухе. Есть такая порода уток: когда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют, или, лучше сказать, посвистывают. Фью-фью-фью – раздается в воздухе, когда летит высоко над вами стая таких уток, а их самих даже и не видно: так они высоко летят. На этот раз утки, описав огромный полукруг, спустились и сели как раз в то самое болото, где жила лягушка.

– Кря, кря! – сказала одна из них. – Лететь еще далеко: надо покушать.

И лягушка сейчас же спряталась. Хотя она и знала, что утки не станут есть ее, большую и толстую квакушку, но все-таки, на всякий случай, она нырнула под корягу. Однако, подумав, она решилась высунуть из воды свою лупоглазую голову: ей было очень интересно узнать, куда летят утки.

– Кря, кря! – сказала другая утка. – Уже холодно становится! Скорей на юг! Скорей на юг!

И все утки стали громко крякать в знак одобрения.

– Госпожи утки! – осмелилась сказать лягушка. – Что такое юг, на который вы летите? Прошу извинения за беспокойство.

И утки окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть ее, но каждая из них подумала, что лягушка слишком

велика и не пролезет в горло. Тогда все они начали кричать, хлопая крыльями:

– Хорошо на юге! Теперь там тепло! Там есть такие славные, теплые болота! Какие там червяки! Хорошо на юге!

Они так кричали, что почти оглушили лягушку. Едва-едва она убедила их замолчать и попросила одну из них, которая казалась ей толще и умнее всех, объяснить ей, что такое юг. И когда та рассказала ей о юге, то лягушка пришла в восторг, но в конце все-таки спросила, потому что была осторожна:

– А много ли там мошек и комаров?

– О! Целые тучи! – отвечала утка.

– Ква! – сказала лягушка и тут же обернулась посмотреть, нет ли здесь подруг, которые могли бы услышать ее и осудить за кваканье осенью.

Она уж никак не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разик.

– Возьмите меня с собой!

– Это мне удивительно! – воскликнула утка. – Как мы тебя возьмем? У тебя нет крыльев.

– Когда вы летите? – спросила лягушка.

– Скоро, скоро! – закричали все утки. – Кря, кря! Кря, кря! Тут холодно! На юг! На юг!

– Позвольте мне подумать только пять минут, – сказала лягушка. – Я сейчас вернусь, я наверное придумаю что-нибудь хорошее.

И она шлепнулась с сучка, на который было снова влезла, в воду, нырнула в тину и совершенно зарылась в ней, чтобы посторонние предметы не мешали ей размышлять. Пять минут прошло, утки совсем было собрались лететь, как вдруг из воды, около сучка, на котором сидела лягушка, показалась ее морда, и выражение этой морды было самое сияющее, на какое только способна лягушка.

– Я придумала! Я нашла! – сказала она. – Пусть две из вас возьмут в свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала, и все будет превосходно.

Хотя молчать и тащить хотя бы и легкую лягушку три тысячи верст не Бог знает какое удовольствие, но ее ум привел уток в такой восторг, что они единодушно согласились нести ее. Решили переменяться каждые два часа, и так как уток было, как говорится в загадке, столько, да еще столько, да полстолька, да четверть столько, а лягушка была одна, то нести ее приходилось не особенно часто.

Нашли хороший, прочный прутик, две утки взяли его в

клювы, лягушка прицепилась ртом за середину, и все стадо поднялось на воздух. У лягушки захватило дух от страшной высоты, на которую ее подняли; кроме того, утки летели неровно и дергали прутик; бедная квакушка болталась в воздухе, как бумажный паяц, и изо всей мочи стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлепнуться на землю. Однако она скоро привыкла к своему положению и даже начала осматриваться. Под нею быстро проносились поля, луга, реки и горы, которые ей, впрочем, было очень трудно рассматривать, потому что, вися на прутике, она смотрела назад и немного вверх, но кое-что все-таки видела и радовалась и гордилась.

«Вот как я превосходно придумала», – думала она про себя.

А утки летели вслед за несшей ее передней парой, кричали и хвалили ее.

– Удивительно умная голова наша лягушка, – говорили они. – Даже между утками мало таких найдется.

Она едва удержалась, чтобы не поблагодарить их, но, вспомнив, что, открыв рот, она свалится со страшной высоты, еще крепче стиснула челюсти и решилась терпеть. Она болталась таким образом целый день: несшие ее утки переменялись на лету, ловко подхватывая прутик. Это было очень страшно: не раз лягушка чуть было не квакнула от страха, но нужно было иметь присутствие духа, и она его имела.

Вечером вся компания остановилась в каком-то болоте; с зарею утки с лягушкой снова пустились в путь, но на этот раз путешественница, чтобы лучше видеть, что делается на пути, прицепилась спинкой и головой вперед, а брюшком назад. Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами и над деревнями, полными хлеба в скирдах; оттуда доносился людской говор и стук цепов, которыми молотили рожь. Люди смотрели на стаю уток и, замечая в ней что-то странное, показывали на нее руками. И лягушке ужасно захотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что о ней говорят. На следующем отдыхе она сказала:

– Нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается дурно.

И добрые утки обещали ей лететь пониже. На следующий день они летели так низко, что слышали голоса:

– Смотрите, смотрите! – кричали дети в одной деревне. – Утки лягушку несут!

Лягушка услышала это, и у нее прыгало сердце.

– Смотрите, смотрите! – кричали в другой деревне взрослые. – Вот чудо-то!

«Знают ли они, что это придумала я, а не утки?» – подумала квакушка.

– Смотрите, смотрите! – кричали в третьей деревне. – Экое чудо! И кто это придумал такую хитрую штуку?

Тут лягушка уже не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала изо всей мочи:

– Это я! Я!

И с этим криком она полетела вверх тормашками на землю. Утки громко закричали; одна из них хотела подхватить бедную спутницу на лету, но промахнулась. Лягушка, дрыгая всеми четырьмя лапками, быстро падала на землю; но так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, над которым закричала и где была твердая дорога, а гораздо дальше, что было для нее большим счастьем, потому что она бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни.

Она скоро вынырнула из воды и тотчас же опять сгоряча закричала во все горло:

– Это я! Это я придумала!

Но вокруг нее никого не было. Испуганные неожиданным плеском местные лягушки все попрятались в воду. Когда они начали показываться из нее, то с удивлением смотрели на новую.

И она рассказала им чудную историю о том, как она думала всю жизнь и наконец изобрела новый, необыкновенный способ путешествия на утках; как у нее были свои собственные утки, которые носили ее, куда ей было угодно; как она побывала на прекрасном юге, где так хорошо, где такие прекрасные теплые болота и так много мошек и всяких других съедобных насекомых.

– Я заехала к вам посмотреть, как вы живете, – сказала она. – Я пробуду у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила.

Но утки уже никогда не вернулись. Они думали, что квакушка разбилась о землю, и очень жалели ее.

Владимир Иванович Даль (1801 – 1872)

Привередница

Жили-были муж да жена. Детей у них было всего двое – дочка Малашечка да сынок Ивашечка.

Малашечке было годков десяток или поболе, а Ивашечке всего пошел третий.

Отец и мать в детях души не чаяли и так уж избаловали! Коли дочери что наказать надо, то они не приказывают, а просят. А потом ублажать начнут:

– Мы-де тебе и того дадим и другого добудем!

А уж как Малашечка испривереднилась, так такой другой не то что на селе, а, чай, и в городе не было! Ты подай ей хлебца не то что пшеничного, а сдобненького, – на ржаной Малашечка и смотреть не хочет!

А испечет мать пирог-ягодник, так Малашечка говорит: «Кисел, давай медку!» Нечего делать, зачерпнет мать на ложку меду и весь на дочернин кусок ухнет. Сама же с мужем ест пирог без меду: хоть они и с достатком были, а сами так сладко есть не могли.

Вот раз понадобилось им в город ехать, они и стали Малашечку ублажать, чтобы не шалила, за братом смотрела, а пуще всего, чтобы его из избы не пускала.

– А мы-де тебе за это пряников купим, да орехов каленых, да платочек на голову, да сарафанчик с дутыми пуговками. – Это мать говорила, а отец поддакивал.

Дочка же речи их в одно ухо впускала, а в другое выпускала.

Вот отец с матерью уехали. Пришли к ней подруги и стали звать посидеть на травке-муравке. Вспомнила было девочка родительский наказ, да подумала: «Не велика беда, коли выйдем на улицу!» А их изба была крайняя к лесу.

Подруги заманили ее в лес с ребенком – она села и стала брату веночки плесть. Подруги поманили ее в коршуны поиграть, она пошла на минутку да и заигралась целый час.

Вернулась к брату. Ой, брата нет, и местечко, где сидел, остыло, только травка помята.

Что делать? Бросилась к подругам, – та не знает, другая не видела. Взвыла Малашечка, побежала куда глаза глядят брата отыскивать; бежала, бежала, бежала, набежала в поле на печь.

– Печь, печурка! Не видала ли ты моего братца Ивашечку?

А печка ей говорит:

– Девочка-привередница, поешь моего ржаного хлеба, поешь, так скажу!

– Вот, стану я ржаной хлеб есть! Я у матушки да у батюшки и на пшеничный не гляжу!

– Эй, Малашечка, ешь хлеб, а пироги впереди! – сказала ей печь.

Малашечка рассердилась и побежала далее. Бежала, бежала, устала, села под дикую яблоню и спрашивает кудрявую:

– Не видала ли, куда братец Ивашечка делся?

А яблоня в ответ:

– Девочка-привередница, поешь моего дикого, кислого яблочка – может статься, тогда и скажу!

– Вот, стану я кислицу есть! У моих батюшки да матушки садовых много – и то ем по выбору!

Покачала на нее яблоня кудрявой вершиной да и говорит:

– Давали голодной Маланье оладьи, а она говорит: «Испечены неладно!»

Малаша побежала далее. Вот бежала она, бежала, набежала на молочную реку, на кисельные берега и стала речку спрашивать:

– Речка-река! Не видала ли ты братца моего Ивашечку?

А речка ей в ответ:

– А ну-ка, девочка-привередница, поешь наперед моего овсяного киселька с молочком, тогда, быть может, дам весточку о брате.

– Стану я есть твой кисель с молоком! У моих у батюшки и у матушки и сливочки не в диво!

– Эх, – погрозилась на нее река, – не брезгай пить из ковша!

Побежала привередница дальше. И долго бежала она, ища Ивашечку; наткнулась на ежа, хотела его оттолкнуть, да побоялась наколоться, вот и вздумала с ним заговорить:

– Ёжик, ежик, не видал ли ты моего братца?

А ежик в ответ:

– Видел я, девочка, стаю серых гусей, пронесли они в лес на себе малого ребенка в красной рубашечке.

– Ах, это-то и есть мой братец Ивашечка! – завопила девочка-привередница. – Ёжик, голубчик, скажи мне, куда они его понесли?

Вот и стал еж ей сказывать: что-де в этом дремучем лесу живет Яга-баба, в избушке на курьих ножках; в послугу наняла она себе серых гусей, и что она им прикажет, то гуси и делают.

И ну Малашечка ежа просить, ежа ласкать:

– Ёжик ты мой рябенький, ежик игольчатый! Доведи меня до

избушки на курьих ножках!

– Ладно, – сказал он и повел Малашечку в самую чащу, а в чаще той все съедобные травы растут: кислица да борщовник, по деревьям седая ежевика вьется, переплетается, за кусты цепляется, крупные ягодки на солнышке дозревают.

«Вот бы поесть!» – думает Малашечка, да уж до еды ли ей! Махнула на сизые плетенницы и побежала за ежом. Он привел ее к старой избушке на курьих ножках.

Малашечка заглянула в отворенную дверь и видит – в углу на лавке Баба-яга спит, а на прилавке{*Прила́вок* – широкая скамья, приделанная к стене.} Ивашечка сидит, цветочками играет.

Схватила она брата на руки да и вон из избы!

А гуси-наемники чутки. Сторожевой гусь вытянул шею, гагакнул, взмахнул крыльями, взлетел выше дремучего леса, глянул вокруг и видит, что Малашечка с братом бежит. Закричал, загоготал серый гусь, поднял все стадо гусиное, а сам полетел к Бабе-яге докладывать. А Баба-яга – костяная нога так спит, что с нее пар валит, от храпа оконницы дрожат. Уж гусь ей в то ухо и в другое кричит – не слышит! Рассердился щипун, щипнул Ягу в самый нос. Вскочила Баба-яга, схватилась за нос, а серый гусь стал ей докладывать:

– Баба-яга – костяная нога! У нас дома неладно что-то сделалось – Ивашечку Малашечка домой несет!

Тут Баба-яга как расходилась!

– Ах, вы трутни, дармоеды, из чего я вас пою, кормлю! Вынь да положь, подайте мне брата с сестрой!

Полетели гуси вдогонку. Летят да друг с дружкою перекликаются. Заслышала Малашечка гусиный крик, подбежала к молочной реке, кисельным берегам, низенько ей поклонилась и говорит:

– Матушка-река! Скрой, схорони ты меня от диких гусей!

А река ей в ответ:

– Девочка-привередница, поешь наперед моего овсяного киселя с молоком.

Устала голодная Малашечка, в охотку поела мужицкого киселя, припала к реке и всласть напилась молока. Вот река и говорит ей:

– Так-то вас, привередниц, голодом учить надо! Ну, теперь садись под бережок, я закрою тебя.

Малашечка села, река прикрыла ее зеленым тростником; гуси налетели, покрутились над рекой, поискали брата с сестрой да с тем и домой полетели.

Рассердилась Яга пуще прежнего и прогнала их опять за детьми. Вот гуси летят вдогонку, летят да меж собой

перекликаются, а Малашечка, заслыша их, прытче прежнего побежала. Вот подбежала к дикой яблоне и просит ее:

– Матушка, зеленая яблонька! Схорони, укрой меня от беды неминучей, от злых гусей!

А яблоня ей в ответ:

– А поешь моего самородного кислого яблочка, так, может статься, и спрячу тебя!

Нечего делать, принялась девочка-привередница дикое яблоко есть, и показался дичок голодной Малаше слаще наливного садового яблочка.

А кудрявая яблонька стоит да посмеивается:

– Вот так-то вас, причудниц, учить надо! Давеча не хотела и в рот взять, а теперь ешь над горсточкой!

Взяла яблонька, обняла ветвями брата с сестрой и посадила их в середочку, в самую густую листву.

Прилетели гуси, осмотрели яблоню – нет никого! Полетели еще туда, сюда да с тем к Бабе-яге и вернулись.

Как завидела она их порожнем, закричала, затопала, завопила на весь лес:

– Вот я вас, трутней! Вот я вас, дармоедов! Все перышки ощиплю, на ветер пущу, самих живьем проглочу!

Испугались гуси, полетели назад за Ивашечкой и Малашечкой. Летят да жалобно друг с дружкой, передний с задним, перекликаются:

– Ту-та, ту-та? Ту-та не-ту!

Стемнело в поле, ничего не видать, негде и спрятаться, а дикие гуси все ближе и ближе; а у девочки-привередницы ножки, ручки устали – еле плетется.

Вот видит она – в поле та печь стоит, что ее ржаным хлебом потчевала. Она к печи:

– Матушка печь, укрой меня с братом от Бабы-яги!

– То-то, девочка, слушаться бы тебе отца-матери, в лес не ходить, брата не брать, сидеть дома да есть, что отец с матерью едят! А то «вареного не ем, печного не хочу, а жареного и на дух не надо!»

Вот Малашечка стала печку упрашивать, умаливать: впередде таково не буду!

– Ну, посмотрю я. Пока поешь моего ржаного хлебца!

С радостью схватила его Малашечка и ну есть да братца кормить!

– Такого-то хлеба я отроду не видала – словно пряник-коврижка!

А печка, смеючись, говорит:

– Голодному и ржаной хлеб за пряник идет, а сытому и

коврижка вяземская не сладка! Ну, полезай теперь в устье, – сказала печь, – да заслонись заслоном.

Вот Малашечка скоренько села в печь, затворилась заслоном, сидит и слушает, как гуси все ближе подлетают, жалобно друг дружку спрашивают:

– Ту-та, ту-та? Ту-та не-ту!

Вот полетали они вокруг печки. Не нашли Малашечки, опустились на землю и стали промеж себя говорить: что им теперь делать? Домой ворочаться нельзя: хозяйка их живьем съест. Здесь остаться тоже не можно: она велит их всех перестрелять.

– Разве вот что, братья, – сказал передовой вожак, – вернемся домой, в теплые земли, – туда Бабе-яге доступа нет!

Гуси согласились, снялись с земли и полетели далеко-далеко, за синие моря.

Отдохнувши, Малашечка схватила братца и побежала домой, а дома отец с матерью все село исходили, каждого встречного и поперечного о детях спрашивали; никто ничего не знает, лишь только пастух сказывал, что ребята в лесу играли.

Побрели отец с матерью в лес, да подле села на Малашечку с Ивашечкой и наткнулись.

Тут Малашечка во всем отцу с матерью повинилась, про все рассказала и обещала вперед слушаться, не перечить, не привередничать, а есть, что другие едят.

Как сказала, так и сделала, а затем и сказке конец.

Петр Павлович Ершов (1815 – 1869)

Конек-горбунок

Часть первая
Начинается сказка сказываться

За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба – на земле
Жил старик в одном селе.
У старинушки три сына:
Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак.
Братья сеяли пшеницу
Да возили в град-столицу:
Знать, столица та была
Недалече от села.
Там пшеницу продавали,
Деньги счетом принимали
И с набитою сумой
Возвращалися домой.

В долгом времени аль вскоре
Приключилося им горе:
Кто-то в поле стал ходить
И пшеницу шевелить{*Шевелить* – здесь: топтать, мять, портить.}.
Мужички такой печали
Отродяся не видали;
Стали думать да гадать —
Как бы вора соглядать{*Соглядáть* – выследить, подкараулить, увидеть.};
Наконец себе смекнули,
Чтоб стоять на карауле,
Хлеб ночами поберечь,
Злого вора подстеречь.

Вот, как стало лишь смеркаться,
Начал старший брат сбираться:

Вынул вилы и топор
И отправился в дозор.
Ночь ненастная настала;
На него боязнь напала,
И со страхов наш мужик
Закопался под сенник.
Ночь проходит, день приходит;
С сенника дозорный сходит
И, облив себя водой,
Стал стучаться под избой:
«Эй вы, сонные тетери!
Отпирайте брату двери,
Под дождем я весь промок
С головы до самых ног».

Братья двери отворили,
Караульщика впустили,
Стали спрашивать его:
Не видал ли он чего?
Караульщик помолился,
Вправо, влево поклонился
И, прокашлявшись, сказал:
«Всю я ноченьку не спал;
На мое ж притом несчастье,
Было страшное ненастье:
Дождь вот так ливмя и лил,
Рубашонку всю смочил.
Уж куда как было скучно!..
Впрочем, все благополучно».
Похвалил его отец:
«Ты, Данило, молодец!
Ты вот, так сказать, примерно,
Сослужил мне службу верно,
То есть, будучи при всем,
Не ударил в грязь лицом».

Стало сызнова смеркаться;
Средний брат пошел сбираться.
Взял и вилы и топор
И отправился в дозор.
Ночь холодная настала,
Дрожь на малого напала,
Зубы начали плясать;
Он ударился бежать —

И всю ночь ходил дозором
У соседки под забором.
Жутко было молодцу!
Но вот утро. Он к крыльцу:
«Эй вы, сони! Что вы спите!
Брату двери отоприте;
Ночью страшный был мороз, —
До животиков промерз».
Братья двери отворили,
Караульщика впустили,
Стали спрашивать его:
Не видал ли он чего?
Караульщик помолился,
Вправо, влево поклонился
И сквозь зубы отвечал:
«Всю я ноченьку не спал,
Да к моей судьбе несчастной
Ночью холод был ужасный,
До сердцов меня пробрал;
Всю я ночку проскакал;
Слишком было несподручно…
Впрочем, все благополучно».
И сказал ему отец:
«Ты, Таврило, молодец!»

Стало третий раз смеркаться,
Надо младшему сбираться;
Он и усом не ведет,
На печи в углу поет
Изо всей дурацкой мочи:
«Распрекрасные вы очи!»
Братья ну ему пенять{*Пенять* – упрекать, ругать.},
Стали в поле погонять,
Но, сколь долго ни кричали,
Только голос потеряли:
Он ни с места. Наконец
Подошел к нему отец,
Говорит ему: «Послушай,
Побегай в дозор, Ванюша;
Я куплю тебе лубков{*Лубки* – ярко раскрашенные картинки с изображениями героев сказок, былин.},
Дам гороху и бобов».
Тут Иван с печи слезает,
Малахай{*Малахáй* – здесь: длиннополая широкая одежда

без пояса.} свой надевает,
Хлеб за пазуху кладет,
Караул держать идет.

Ночь настала; месяц всходит;
Поле все Иван обходит,
Озираючись кругом,
И садится под кустом;
Звезды на́ небе считает
Да краюшку уплетает.
Вдруг о полночь конь заржал…
Караульщик наш привстал,
Посмотрел под рукавицу
И увидел кобылицу.
Кобылица та была
Вся, как зимний снег, бела,
Грива в землю, золотая,
В мелки кольцы завитая.
«Эхе-хе! так вот какой
Наш воришко!.. Но, постой,
Я шутить ведь не умею,
Разом сяду те на шею.
Вишь, какая саранча!»
И, минуту улуча,
К кобылице подбегает,
За волнистый хвост хватает
И прыгнул к ней на хребет —
Только задом наперед.
Кобылица молодая,
Очью{*О́чью* – глазами.} бешено сверкая,
Змеем голову свила
И пустилась, как стрела.
Вьется кругом над полями,
Виснет пластью{*Пла́стью* – пластом, распластавшись.}
надо рвами,
Мчится скоком по горам,
Ходит дыбом по лесам,
Хочет силой аль обманом,
Лишь бы справиться с Иваном;
Но Иван и сам не прост —
Крепко держится за хвост.
Наконец она устала.
«Ну, Иван, – ему сказала,
Коль умел ты усидеть,

Так тебе мной и владеть.
Дай мне место для покою
Да ухаживай за мною,
Сколько смыслишь. Да смотри:
По три утренни зари
Выпущай меня на волю
Погулять по чисту полю.
По исходе же трех дней
Двух рожу тебе коней —
Да таких, каких поныне
Не бывало и в помине;
Да еще рожу конька
Ростом только в три вершка{В старину, когда обозначали рост человека или животного, указывали количество вершков (вершок – 4,4 сантиметра) сверх двух аршин (аршин – 71 сантиметр); следовательно, рост конька-горбунка чуть больше полутора метров.},
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами.
Двух коней, коль хошь, продай,
Но конька не отдавай
Ни за пояс, ни за шапку,
Ни за черную, слышь, бабку{*Бабка* – игральная кость, бита.}.
На земле и под землей
Он товарищ будет твой:
Он зимой тебя согреет,
Летом холодом обвеет;
В голод хлебом угостит,
В жажду медом напоит.
Я же снова выйду в поле
Силы пробовать на воле».

«Ладно», – думает Иван
И в пастуший балаган{*Пастуший балаган* – загон с навесом, шалаш.}
Кобылицу загоняет,
Дверь рогожей закрывает
И, лишь только рассвело,
Отправляется в село,
Напевая громко песню
«Ходил молодец на Пресню».

Вот он всходит на крыльцо,

Вот хватает за кольцо,
Что есть силы в дверь стучится,
Чуть что кровля не валится,
И кричит на весь базар,
Словно сделался пожар.
Братья с лавок поскакали,
Заикаясь, вскричали:
«Кто стучится сильно так?» —
«Это я, Иван-дурак!»
Братья двери отворили,
Дурака в избу впустили
И давай его ругать,
Как он смел их так пугать!
А Иван наш, не снимая
Ни лаптей, ни малахая,
Отправляется на печь
И ведет оттуда речь
Про ночное похожденье
Всем ушам на удивленье:
«Всю я ноченьку не спал,
Звезды на́ небе считал;
Месяц, ровно, тоже све́тил,
Я порядком не приметил.
Вдруг приходит дьявол сам,
С бородою и с усам;
Рожа словно как у кошки,
А глаза-то – что те плошки{*Пло́шка* – блюдце.}!
Вот и стал тот черт скакать
И зерно хвостом сбивать
Я шутить ведь не умею —
И вскочи ему на шею.
Уж таскал же он, таскал,
Чуть башки мне не сломал.
Но и я ведь сам не промах,
Слышь, держал его, как в жомах{*В жо́мах* – в тисках.}.
Бился, бился мой хитрец
И взмолился наконец:
«Не губи меня со света!
Целый год тебе за это
Обещаюсь смирно жить,
Православных не мутить».
Я, слышь, слов-то не померил{*Поме́рить* – обдумать как следует.},
Да чертенку и поверил».

Тут рассказчик замолчал,
Позевнул и задремал.
Братья, сколько ни серчали,
Не смогли – захохотали,
Ухватившись под бока,
Над рассказом дурака.
Сам старик не мог сдержаться,
Чтоб до слез не посмеяться, —
Хоть смеяться – так оно
Старикам уж и грешно.

Много ль времени аль мало
С этой ночи пробежало,
Я про это ничего
Не слыхал ни от кого.
Ну, да что нам в том за дело,
Год ли, два ли пролетело,
Ведь за ними не бежать…
Станем сказку продолжать.

Ну-с, так вот что! Раз Данило
(В праздник, помнится, то было),
Натянувшись зельно{*Натянувшись зе́льно* – сильно напившись зелена вина.} пьян,
Затащился в балаган.
Что ж он видит? – Прекрасивых
Двух коней золотогривых
Да игрушечку-конька
Ростом только в три вершка,
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами.
«Хм! теперь-то я узнал,
Для чего здесь дурень спал!» —
Говорит себе Данило…
Чудо разом хмель посбило;
Вот Данило в дом бежит
И Гавриле говорит:
«Посмотри, каких красивых
Двух коней золотогривых
Наш дурак себе достал:
Ты и слыхом не слыхал».
И Данило да Таврило,
Что в ногах их мочи было,
По крапиве прямиком

Так и дуют босиком.

Спотыкнувшися три раза,
Починивши оба глаза,
Потирая здесь и там.
Входят братья к двум коням.
Кони ржали и храпели,
Очи яхонтом{*Яхонт* – старинное название драгоценных камней – рубина, сапфира.} горели;
В мелки кольца завитой,
Хвост струился золотой,
И алмазные копыты
Крупным жемчугом обиты.
Любо-дорого смотреть!
Лишь царю б на них сидеть.
Братья так на них смотрели,
Что чуть-чуть не окривели.
«Где он это их достал? —
Старший среднему сказал. —
Но давно уж речь ведется,
Что лишь дурням клад дается,
Ты ж хоть лоб себе разбей,
Так не выбьешь двух рублей.
Ну, Таврило, в ту седмицу{*Седми́ца* – неделя; здесь: седьмой день недели – воскресенье.}
Отведем-ка их в столицу;
Там боярам продадим,
Деньги ровно поделим.
А с деньжонками, сам знаешь,
И попьешь и погуляешь,
Только хлопни по мешку.
А благому дураку
Не достанет ведь догадки,
Где гостят его лошадки;
Пусть их ищет там и сям.
Ну, приятель, по рукам!»
Братья разом согласились,
Обнялись, перекрестились
И вернулися домой,
Говоря промеж собой
Про коней, и про пирушку,
И про чудную зверушку.

Время катит чередом,

Час за часом, день за днем, —
И на первую седмицу
Браться едут в град-столицу,
Чтоб товар свой там продать
И на пристани узнать,
Не пришли ли с кораблями
Немцы в город за холстами
И нейдет ли царь Салтан
Басурманить христиан{*Басурма́нить* – обращать в чужую веру; *басурма́н* – человек чужой веры.}.
Вот иконам помолились,
У отца благословились,
Взяли двух коней тайком
И отправились тишком.

Вечер к ночи пробирался;
На ночлег Иван собрался;
Вдоль по улице идет,
Ест краюшку да поет.
Вот он поля достигает,
Руки в боки подпирает
И с прискочкой, словно пан,
Боком входит в балаган.
Все по-прежнему стояло,
Но коней как не бывало;
Лишь игрушка-горбунок
У его вертелся ног,
Хлопал с радости ушами
Да приплясывал ногами.
Как завоет тут Иван,
Опершись о балаган:
«Ой вы, кони буры-сивы,
Добры кони златогривы!
Я ль вас, други, не ласкал.
Да какой вас черт украл?
Чтоб пропасть ему, собаке!
Чтоб издохнуть в буераке!
Чтоб ему на том свету
Провалиться на мосту!
Ой вы, кони буры-сивы,
Добры кони златогривы!»

Тут конек ему заржал.
«Не тужи, Иван, – сказал, —

Велика беда, не спорю;
Но могу помочь я горю,
Ты на черта не клепли:
Братья коников свели.
Ну, да что болтать пустое,
Будь, Иванушка, в покое.
На меня скорей садись,
Только знай себе держись;
Я хоть росту небольшого,
Да сменю коня другого:
Как пущусь да побегу,
Так и беса настигу».

Тут конек пред ним ложится;
На конька Иван садится,
Уши в загреби{*В за́греби* – всей пятерней.} берет,
Что есть мочушки ревет.
Горбунок-конек встряхнулся,
Встал на лапки, встрепенулся,
Хлопнул гривкой, захрапел
И стрелою полетел;
Только пыльными клубами
Вихорь вился под ногами,
И в два мига, коль не в миг
Наш Иван воров настиг.

Братья, то есть, испугались,
Зачесались и замялись.
А Иван им стал кричать:
«Стыдно, братья, воровать!
Хоть Ивана вы умнее,
Да Иван-то вас честнее:
Он у вас коней не крал».
Старший, корчась, тут сказал:
«Дорогой наш брат Иваша!
Что переться, – дело наше!
Но возьми же ты в расчет
Некорыстный наш живот{*Некоры́стный наш живот* – наша бедная жизнь, честно заработанный достаток; *живо́т* – жизнь, имущество, добро.}.
Сколь пшеницы мы ни сеем,
Чуть насущный хлеб имеем.
А коли неурожай,
Так хоть в петлю полезай!

Вот в такой большой печали
Мы с Гаврилой толковали
Всю намеднишнюю ночь,
Чем бы горюшку помочь?
Так и этак мы решили,
Наконец вот так вершили,
Чтоб продать твоих коньков
Хоть за тысячу рублев.
А в спасибо, молвить к слову,
Привезти тебе обнову —
Красну шапку с позвонком
Да сапожки с каблучком.
Да к тому ж старик неможет,
Работáть уже не может,
А ведь надо ж мыкать век,
Сам ты умный человек!» —
«Ну, коль этак, так ступайте, —
Говорит Иван, – продайте
Златогривых два коня,
Да возьмите ж и меня».
Братья больно покосились,
Да нельзя же! согласились.

Стало нá небе темнеть;
Воздух начал холодеть;
Вот, чтоб им не заблудиться,
Решено остановиться.
Под навесами ветвей
Привязали всех коней,
Принесли с естным лукошко,
Опохмелились немножко
И пошли, что Боже даст,
Кто во что из них горазд.

Вот Данило вдруг приметил,
Что огонь вдали засветил.
На Гаврилу он взглянул,
Левым глазом подмигнул
И прикашлянул легонько,
Указав огонь тихонько;
Тут в затылке почесал,
«Эх, как темно! – он сказал. —
Хоть бы месяц этак в шутку
К нам проглянул на минутку,

Все бы легче. А теперь,
Право, хуже мы тетерь…
Да постой-ка… Мне сдается,
Что дымок там светлый вьется.
Видишь, эвон!.. Так и есть!..
Вот бы курево развесть!
Чудо было б!.. А послушай,
Побегай-ка, брат Ванюша.
А, признаться, у меня
Ни огнива, ни кремня».
Сам же думает Данило:
«Чтоб тебя там задавило!»
А Таврило говорит:
«Кто-петь знает, что горит!
Коль станичники{*Станичники* – здесь: разбойники.} пристали —
Поминай его, как звали!»

Все пустяк для дурака,
Он садится на конька,
Бьет в круты бока ногами,
Теребит его руками,
Изо всех горланит сил…
Конь взвился, и след простыл.
«Буди с нами крестна сила! —
Закричал тогда Таврило,
Оградясь крестом святым.
Что за бес такой под ним!»

Огонек горит светлее,
Горбунок бежит скорее,
Вот уж он перед огнем.
Светит поле, словно днем;
Чудный свет кругом струится,
Но не греет, не дымится,
Диву дался тут Иван.
«Что, – сказал он, – за шайтан{*Шайта́н* – черт, дьявол, сатана.}.
Шапок с пять найдется свету,
А тепла и дыма нету;
Эко чудо огонек!»

Говорит ему конек:
«Вот уж есть чему дивиться!

Тут лежит перо Жар-птицы,
Но для счастья своего
Не бери себе его.
Много, много непокою
Принесет оно с собою». —
«Говори ты! как не так!» —
Про себя ворчит дурак;
И, подняв перо Жар-птицы,
Завернул его в тряпицы,
Тряпки в шапку положил
И конька поворотил.
Вот он к братьям приезжает
И на спрос их отвечает:
«Как туда я доскакал,
Пень горелый увидал;
Уж над ним я бился, бился,
Так что чуть не надсадился;
Раздувал его я с час,
Нет ведь, черт возьми, угас!»
Братья целу ночь не спали,
Над Иваном хохотали;
А Иван под воз присел,
Вплоть до утра прохрапел.

Тут коней они впрягали
И в столицу приезжали,
Становились в конный ряд,
Супротив больших палат.

В той столице был обычай:
Коль не скажет городничий —
Ничего не покупать,
Ничего не продавать.
Вот обедня{*Обе́дня* – церковная служба утром или днем.} наступает;
Городничий выезжает
В туфлях, в шапке меховой,
С сотней стражи городской.
Рядом едет с ним глашатый{*Глаша́тый* – человек, объявляющий народу на улицах волю царя, воеводы, городничего.},
Длинноусый, бородатый;
Он в злату трубу трубит,
Громким голосом кричит:

«Гости!{*Гости* – торговцы, купцы.} Лавки отпирайте,
Покупайте, продавайте;
А надсмотрщикам сидеть
Возле лавок и смотреть, —
Чтобы не было содому{*Содо́м* – здесь: шум, беспорядок.},
Ни давежа, ни погрому,
И чтобы никой урод
Не обманывал народ!»
Гости лавки отпирают,
Люд крещеный закликают:
«Эй, честные господа,
К нам пожалуйте сюда!
Как у нас ли тары-бары,
Всяки разные товары!»
Покупальщики идут,
У гостей товар берут;
Гости денежки считают
Да надсмотрщикам мигают.

Между тем градской отряд
Приезжает в конный ряд;
Смотрят – давка от народу,
Нет ни выходу, ни входу;
Так кишма вот и кишат,
И смеются, и кричат.
Городничий удивился,
Что народ развеселился,
И приказ отряду дал,
Чтоб дорогу прочищал.
«Эй! вы, черти босоноги!
Прочь с дороги! Прочь с дороги!»
Закричали усачи
И ударили в бичи.
Тут народ зашевелился,
Шапки снял и расступился.

Пред глазами конный ряд:
Два коня в ряду стоят,
Молодые, вороные,
Вьются гривы золотые,
В мелки кольца завитой,
Хвост струится золотой…
Наш старик, сколь ни был пылок,
Долго тер себе затылок.

«Чуден, – молвил, – Божий свет,
Уж каких чудес в нем нет!»
Весь отряд тут поклонился,
Мудрой речи подивился.
Городничий между тем
Наказал престрого всем,
Чтоб коней не покупали,
Не зевали, не кричали;
Что он едет ко двору
Доложить о всем царю.
И, оставив часть отряда,
Он поехал для доклада.

Приезжает во дворец.
«Ты помилуй, царь-отец! —
Городничий восклицает
И всем телом упадает. —
Не вели меня казнить, —
Прикажи мне говорить!»
Царь изволил молвить: «Ладно,
Говори, да только складно». —
«Как умею, расскажу:
Городничим я служу;
Верой-правдой исправляю
Эту должность…» – «Знаю, знаю!» —
«Вот сегодня, взяв отряд,
Я поехал в конный ряд.
Приезжаю – тьма народу!
Ну, ни выходу, ни входу.
Что тут делать?.. Приказал
Гнать народ, чтоб не мешал.
Так и сталось, царь-надежа!
И поехал я, – и что же?..
Предо мною конный ряд:
Два коня в ряду стоят,
Молодые, вороные,
Вьются гривы золотые,
В мелки кольца завитой,
Хвост струится золотой,
И алмазные копыты
Крупным жемчугом обиты».

Царь не мог тут усидеть.
«Надо ко́ней поглядеть, —

Говорит он, – да не худо
И завесть такое чудо.
Гей, повозку мне!» И вот
Уж повозка у ворот.
Царь умылся, нарядился
И на рынок покатился;
За царем стрельцов{*Стрельцы* – старинное войско на Руси.} отряд.

Вот он въехал в конный ряд.
На колени все тут пали
И «ура» царю кричали.
Царь раскланялся и вмиг
Молодцом с повозки прыг…
Глаз своих с коней не сводит,
Справа, слева к ним заходит,
Словом ласковым зовет,
По спине их тихо бьет,
Треплет шею их крутую,
Гладит гриву золотую,
И, довольно насмотрясь,
Он спросил, оборотясь
К окружавшим: «Эй, ребята!
Чьи такие жеребята?
Кто хозяин?» Тут Иван,
Руки в боки, словно пан,
Из-за братьев выступает
И, надувшись, отвечает.
«Эта пара, царь, моя,
И хозяин – тоже я». —
«Ну, – я пару покупаю;
Продаешь ты?» – «Нет, меняю».
«Что в промен берешь добра?» —
«Два-пять шапок серебра». —
«То есть это будет десять».
Царь тотчас велел отвесить
И, по милости своей,
Дал в прибавок пять рублей.
Царь-то был великодушный!

Повели коней в конюшни
Десять конюхов седых,
Все в нашивках золотых,
Все с цветными кушаками

И с сафьянными бичами.
Но дорогой, как на смех,
Кони с ног их сбили всех,
Все уздечки разорвали
И к Ивану прибежали.

Царь отправился назад,
Говорит ему: «Ну, брат,
Пара нашим не дается;
Делать нечего, придется
Во дворце тебе служить;
Будешь в золоте ходить,
В красно платье наряжаться,
Словно в масле сыр кататься,
Всю конюшенну{*Конюшенна* – Конюшенный приказ, завод – служба, ведающая царскими конюшнями, охотой.} мою
Я в приказ тебе даю,
Царско слово в том порука.
Что, согласен?» – «Эка штука!
Во дворце я буду жить,
Буду в золоте ходить,
В красно платье наряжаться,
Словно в масле сыр кататься,
Весь конюшенный завод
Царь в приказ мне отдает;
То есть я из огорода
Стану царский воевода.
Чудно дело! Так и быть,
Стану, царь, тебе служить.
Только, чур, со мной не драться
И давать мне высыпаться,
А не то я был таков!»

Тут он кликнул скакунов
И пошел вдоль по столице,
Сам махая рукавицей,
И под песню дурака
Кони пляшут трепака;
А конек его – горбатко —
Так и ломится вприсядку,
К удивленью людям всем.
Два же брата между тем
Деньги царски получили,

В опояски их зашили,
Постучали ендовой{*Постучали ендово́й* – выпили вина; *ендова́* – глиняная или медная чаша с носиком-рыльцем для разлива питья.}
И отправились домой.
Дома дружно поделились,
Оба враз они женились,
Стали жить да поживать,
Да Ивана поминать.

Но теперь мы их оставим,
Снова сказкой позабавим
Православных христиан,
Что наделал наш Иван,
Находясь на службе царской
При конюшне государской;
Как в суседки{*Суседко* – домовой, покровитель дома, в особенности – лошадей.} он попал,
Как перо свое проспал,
Как хитро поймал Жар-птицу,
Как похитил Царь-девицу,
Как он ездил за кольцом,
Как был на небе послом,
Как он в Солнцевом селенье
Ки́ту выпросил прощенье;
Как, к числу других затей,
Спас он тридцать кораблей;
Как в котлах он не сварился,
Как красавцем учинился;
Словом, наша речь о том,
Как он сделался царем.

Часть вторая
Скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается

Зачинается рассказ
От Ивановых проказ,
И от сивка, и от бурка,
И от вещего каурка{*Кау́рка* – лошадь рыжей (каурой) масти; в народных сказках – вещий конь-помощник.}.
Козы на море ушли;
Горы лесом поросли;
Конь с златой узды срывался,

Прямо к солнцу поднимался;
Лес стоячий под ногой,
Сбоку облак громовой;
Ходит облак и сверкает,
Гром по небу рассыпает.
Это присказка: пожди,
Сказка будет впереди.
Как на море-окияне
И на острове Буяне
Новый гроб в лесу стоит,
В гробе девица лежит;
Соловей над гробом свищет;
Черный зверь{*Черный зверь* – так в Сибири называли медведя.} в дубраве рыщет.
Это присказка, а вот —
Сказка че́редом пойдет.

Ну, так видите ль, миряне,
Православны христиане,
Наш удалый молодец
Затесался во дворец;
При конюшне царской служит
И нисколько не потужит
Он о братьях, об отце
В государевом дворце.
Да и что ему до братьев?
У Ивана красных платьев,
Красных шапок, сапогов
Чуть не десять коробов;
Ест он сладко, спит он столько,
Что раздолье, да и только!

Вот неделей через пять
Начал спальник{*Спа́льник* – придворный чин в допетровское время.} примечать…
Надо молвить, этот спальник
До Ивана был начальник
Над конюшней надо всей,
Из боярских слыл детей;
Так не диво, что он злился
На Ивана и божился,
Хоть пропасть, а пришлеца
Потурить вон из дворца.
Но, лукавство сокрывая,

Он для всякого случая
Притворился, плут, глухим,
Близоруким и немым;
Сам же думает: «Постой-ка,
Я те двину, неумойка!»
Так, неделей через пять,
Спальник начал примечать,
Что Иван коней не холит,
И не чистит, и не школит;
Но при всем том два коня
Словно лишь из-под гребня:
Чисто-начисто обмыты,
Гривы в косы перевиты,
Челки собраны в пучок,
Шерсть – ну, лоснится, как шелк;
В стойлах – свежая пшеница,
Словно тут же и родится,
И в чана́х больших сыта{*Сыта́* – вода, подслащенная медом.}
Будто только налита.
«Что за притча{*При́тча* – здесь: странный, непонятный случай.} тут такая? —
Спальник думает, вздыхая. —
Уж не ходит ли, постой,
К нам проказник домовой?
Дай-ка я подкараулю,
А нешто, так я и пулю,
Не смигнув, умею слить{*Пулю слить* – пустить ложный слух, налгать.},
Лишь бы дурня уходить.
Донесу я в думе царской,
Что конюший государской —
Басурманин, ворожей,
Чернокнижник и злодей;
Что он с бесом хлеб-соль водит,
В церковь Божию не ходит,
Католицкой держит крест{*Католицкой крест* – католический четырехконечный крест, без перекладин.}
И постами мясо ест».
В тот же вечер этот спальник,
Прежний ко́нюших начальник,
В стойлы спрятался тайком
И обсыпался овсом.
Вот и полночь наступила.

У него в груди заныло:
Он ни жив ни мертв лежит,
Сам молитвы все творит,
Ждет суседки… Ну! всам-деле,
Двери глухо заскрыпели,
Кони топнули, и вот
Входит старый коновод.
Дверь задвижкой запирает,
Шапку бережно скидает,
На окно ее кладет
И из шапки той берет
В три завернутый тряпицы
Царский клад – перо Жар-птицы{*Царский клад* – по закону любая найденная драгоценность принадлежала царю.}.
Свет такой тут заблистал,
Что чуть спальник не вскричал,
И от страху так забился,
Что овес с него свалился,
Но суседке невдомек!
Он кладет перо в сусек{*Сусе́к* – огороженное место, где хранилось зерно.},
Чистить ко́ней начинает,
Умывает, убирает,
Гривы длинные плетет,
Разны песенки поет.
А меж тем, свернувшись клубом,
Поколачивая зубом,
Смотрит спальник, чуть живой,
Что тут деет домовой.
Что за бес! Нешто нарочно
Прирядился плут полночный:
Нет рогов, ни бороды,
Ражий парень, хоть куды!
Волос гладкий, сбоку ленты,
На рубашке прозументы{*Прозуме́нты (позументы)* – золотая или серебряная тесьма, нашивалась на рукава, воротник, подол.},
Сапоги как ал сафьян,
Ну точнехонько Иван.
Что за диво? Смотрит снова
Наш глазей на домового…
«Э! так вот что! – наконец
Проворчал себе хитрец.

Ладно, завтра ж царь узнает,
Что твой глупый ум скрывает.
Подожди лишь только дня,
Будешь помнить ты меня!»
А Иван, совсем не зная,
Что ему беда такая
Угрожает, все плетет
Гривы в косы да поет;
А убрав их, в оба чана
Нацедил сыты медвяной
И насыпал дополна
Белоярова пшена{*Белоя́рово пшено* – отборное зерно, кукуруза; в сказках – конский корм.}.
Тут, зевнув, перо Жар-птицы
Завернул опять в тряпицы,
Шапку под ухо – и лег
У коней близ задних ног.

Только начало зориться,
Спальник начал шевелиться,
И, услыша, что Иван
Так храпит, как Еруслан{*Еруслáн* – Еруслан Лазаревич – богатырь, герой сказок.},
Он тихонько вниз слезает
И к Ивану подползает,
Пальцы в шапку запустил,
Хвать перо – и след простыл.

Царь лишь только пробудился,
Спальник наш к нему явился,
Стукнул крепко об пол лбом
И запел царю потом:
«Я с повинной головою,
Царь, явился пред тобою,
Не вели меня казнить,
Прикажи мне говорить». —
«Говори, не прибавляя, —
Царь сказал ему, зевая, —
Если ж ты да будешь врать,
То кнута не миновать».
Спальник наш, собравшись с силой,
Говорит царю: «Помилуй!
Вот те истинный Христос,
Справедлив мой, царь, донос:

Наш Иван, то всякий знает,
От тебя, отец, скрывает,
Но не злато, не сребро —
Жароптицево перо…» —
«Жароптицево?.. Проклятый!
И он смел такой богатый…
Погоди же ты, злодей!
Не минуешь ты плетей!..» —
«Да и то ль еще он знает! —
Спальник тихо продолжает,
Изогнувшися. – Добро!
Пусть имел бы он перо;
Да и самую Жар-птицу
Во твою, отец, светлицу,
Коль приказ изволишь дать,
Похваляется достать».
И доносчик с этим словом,
Скрючась обручем таловым{*Тало́вый* – ивовый.},
Ко кровати подошел,
Подал клад – и снова в пол.

Царь смотрел и дивовался,
Гладил бороду, смеялся
И скусил пера конец.
Тут, уклав его в ларец,
Закричал (от нетерпенья),
Подтвердив свое веленье
Быстрым взмахом кулака:
«Гей! Позвать мне дурака!»
И посыльные дворяна
Побежали по Ивана,
Но, столкнувшись все в углу,
Растянулись на полу.
Царь тем долго любовался
И до ко́лотья смеялся.
А дворяна, усмотря,
Что смешно то для царя,
Меж собой перемигнулись
И вдруго́рядь растянулись.
Царь тем так доволен был,
Что их шапкой наградил.
Тут посыльные дворяна
Вновь пустились звать Ивана
И на этот уже раз

Обошлися без проказ.

Вот к конюшне прибегают,
Двери настежь отворяют
И ногами дурака
Ну толкать во все бока.
С полчаса над ним возились,
Но его не добудились,
Наконец уж рядовой{*Рядово́й* – здесь: простой, нечиновный человек.}
Разбудил его метлой.

«Что за челядь тут такая? —
Говорит Иван, вставая. —
Как хвачу я вас бичом,
Так не станете потом
Без пути будить Ивана!»
Говорят ему дворяна:
«Царь изволил приказать
Нам тебя к нему позвать». —
«Царь?.. Ну ладно! Вот сряжуся
И тотчас к нему явлюся», —
Говорит послам Иван.
Тут надел он свой кафтан,
Опояской подвязался,
Приумылся, причесался,
Кнут свой сбоку прицепил,
Словно утица поплыл.

Вот Иван к царю явился,
Поклонился, подбодрился,
Крякнул дважды и спросил:
«А пошто меня будил?»
Царь, прищурясь глазом левым,
Закричал к нему со гневом,
Приподнявшися: «Молчать!
Ты мне должен отвечать:
В силу коего указа
Скрыл от нашего ты глаза
Наше царское добро —
Жароптицево перо?
Что я – царь али боярин?
Отвечай сейчас, татарин!»
Тут Иван, махнув рукой,

Говорит царю: «Постой!
Я те шапки, ровно, не́ дал,
Как же ты о том проведал?
Что ты – ажио ты пророк?
Ну, да что, сади в острог,
Прикажи сейчас хоть в палки, —
Нет пера, да и шабалки{*Шаба́лки* – шабаш, конец.}!..» —
«Отвечай же! Запорю!..» —
«Я те толком говорю:
Нет пера! Да, слышь, откуда
Мне достать такое чудо?»
Царь с кровати тут вскочил
И ларец с пером открыл.
«Что? Ты смел еще переться?

Да уж нет, не отвертеться!
Это что? А?» Тут Иван
Задрожал, как лист в буран,
Шапку выронил с испуга.
«Что, приятель, видно, туго? —
Молвил царь. – Постой-ка, брат!..» —
«Ох, помилуй, виноват!
Отпусти вину Ивану,
Я вперед уж врать не стану».
И, закутавшись в полу,
Растянулся на полу.
«Ну, для первого случаю
Я вину тебе прощаю, —
Царь Ивану говорит. —
Я, помилуй Бог, сердит!
И с сердцов иной порою
Чуб сниму и с головою.
Так вот, видишь, я каков!
Но, сказать без дальних слов,
Я узнал, что ты Жар-птицу
В нашу царскую светлицу,
Если б вздумал приказать,
Похваляешься достать.
Ну, смотри ж, не отпирайся
И достать ее старайся».
Тут Иван волчком вскочил.
«Я того не говорил! —
Закричал он, утираясь. —
О пере не запираюсь,

Но о птице, как ты хошь,
Ты напраслину ведешь».
Царь, затрясши бородою:
«Что? Рядиться{*Рядиться* – спорить, препираться, договариваться *(ряда* – уговор).} мне с тобою! —
Закричал он. – Но смотри!
Если ты недели в три
Не достанешь мне Жар-птицу
В нашу царскую светлицу,
То, клянуся бородой,
Ты поплатишься со мной:
На правеж – в решетку – на́ кол!{*Правеж* – битье батогами, палками; *решетка* – тюрьма, клетка; *посадить на кол* – предать казни.}
Вон, холоп!» Иван заплакал
И пошел на сеновал,
Где конек его лежал.

Горбунок, его почуя,
Дрягнул было плясовую;
Но, как слезы увидал,
Сам чуть-чуть не зарыдал.
«Что, Иванушка, невесел?
Что головушку повесил? —
Говорит ему конек,
У его вертяся ног. —
Не утайся предо мною,
Все скажи, что за душою;
Я помочь тебе готов.
Аль, мой милый, нездоров?
Аль попался к лиходею?»
Пал Иван к коньку на шею,
Обнимал и целовал.
«Ох, беда, конек, – сказал. —
Царь велит достать Жар-птицу
В государскую светлицу.
Что мне делать, горбунок?»
Говорит ему конек:
«Велика беда, не спорю;
Но могу помочь я горю.
Оттого беда твоя,
Что не слушался меня:
Помнишь, ехав в град-столицу,
Ты нашел перо Жар-птицы;

Я сказал тебе тогда:
«Не бери, Иван, – беда!
Много, много непокою
Принесет оно с собою».
Вот теперя ты узнал,
Правду ль я тебе сказал.
Но, сказать тебе по дружбе,
Это – службишка, не служба;
Служба все, брат, впереди.
Ты к царю теперь поди
И скажи ему открыто:
«Надо, царь, мне два корыта
Белоярова пшена
Да заморского вина.
Да вели поторопиться:
Завтра, только зазорится,
Мы отправимся в поход».

Тут Иван к царю идет,
Говорит ему открыто:
«Надо, царь, мне два корыта
Белоярова пшена
Да заморского вина.
Да вели поторопиться:
Завтра, только зазорится,
Мы отправимся в поход».
Царь тотчас приказ дает,
Чтоб посыльные дворяна
Все сыскали для Ивана,
Молодцом его назвал
И «счастливый путь!» сказал.

На другой день, утром рано,
Разбудил конек Ивана:
«Гей! Хозяин! Полно спать!
Время дело исправлять!»
Вот Иванушка поднялся,
В путь-дорожку собирался,
Взял корыта и пшено,
И заморское вино;
Потеплее приоделся,
На коньке своем уселся,
Вынул хлеба ломоток
И поехал на восток —

Доставать тое Жар-птицу.
Едут целую седмицу,
Напоследок, в день осьмой,
Приезжают в лес густой,
Тут сказал конек Ивану:
«Ты увидишь здесь поляну;
На поляне той гора,
Вся из чистого сребра;
Вот сюда-то до зарницы
Прилетают жары-птицы
Из ручья воды испить;
Тут и будем их ловить».
И, окончив речь к Ивану,
Выбегает на поляну.
Что за поле! Зелень тут,
Словно камень изумруд;
Ветерок над нею веет,
Так вот искорки и сеет;
А по зелени цветы
Несказанной красоты.
А на той ли на поляне,
Словно вал на окияне,
Возвышается гора
Вся из чистого сребра.
Солнце летними лучами
Красит всю ее зарями,
В сгибах золотом бежит,
На верхах свечой горит.

Вот конек по косогору
Поднялся на эту гору,
Версту, другу пробежал,
Устоялся и сказал:
«Скоро ночь, Иван, начнется,
И тебе стеречь придется.
Ну, в корыто лей вино
И с вином мешай пшено.
А чтоб быть тебе закрыту,
Ты под то подлезь корыто,
Втихомолку примечай,
Да смотри же, не зевай.
До восхода, слышь, зарницы
Прилетят сюда жар-птицы
И начнут пшено клевать

Да по-своему кричать.
Ты, которая поближе,
И схвати ее, смотри же!
А поймаешь Птицу-жар —
И кричи на весь базар;
Я тотчас к тебе явлюся». —
«Ну, а если обожгуся? —
Говорит коньку Иван,
Расстилая свой кафтан. —
Рукавички взять придется,
Чай, плутовка больно жгется».
Тут конек из глаз исчез,
А Иван, кряхтя, подлез
Под дубовое корыто
И лежит там как убитый.

Вот полночною порой
Свет разлился над горой,
Будто полдни наступают:
Жары-птицы налетают;
Стали бегать и кричать
И пшено с вином клевать.
Наш Иван, от них закрытый,
Смотрит птиц из-под корыта
И толкует сам с собой,
Разводя вот так рукой:
«Тьфу ты, дьявольская сила!
Эк их, дряни, привалило!
Чай, их тут десятков с пять.
Кабы всех переимать —
То-то было бы поживы!
Неча молвить, страх красивы!
Ножки красные у всех;
А хвосты-то – сущий смех!
Чай, таких у куриц нету;
А уж сколько, парень, свету —
Словно батюшкина печь!»
И, скончав такую речь
Сам с собою под лазейкой,
Наш Иван ужом да змейкой
Ко пшену с вином подполз —
Хвать одну из птиц за хвост.
«Ой! Конечек-горбуночек!
Прибегай скорей, дружочек!

Я ведь птицу-то поймал!» —
Так Иван-дурак кричал.
Горбунок тотчас явился.
«Ай, хозяин, отличился! —
Говорит ему конек. —
Ну, скорей ее в мешок!
Да завязывай тужее;
А мешок привесь на шею,
Надо нам в обратный путь». —
«Нет, дай птиц-то мне пугнуть! —
Говорит Иван. – Смотри-ка,
Вишь, надселися от крика!»
И, схвативши свой мешок,
Хлещет вдоль и поперек.
Ярким пламенем сверкая,
Встрепенулася вся стая,
Кругом огненным свилась
И за тучи понеслась.
А Иван наш вслед за ними
Рукавицами своими
Так и машет и кричит,
Словно щелоком облит.
Птицы в тучах потерялись;
Наши путники собрались,
Уложили царский клад
И вернулися назад.

Вот приехали в столицу.
«Что, достал ли ты Жар-птицу?» —
Царь Ивану говорит,
Сам на спальника глядит.
А уж тот, нешто от скуки,
Искусал себе все руки.
«Разумеется, достал», —
Наш Иван царю сказал.
«Где ж она?» – «Постой немножко,
Прикажи сперва окошко
В почивальне затворить,
Знашь, чтоб темень сотворить».
Тут дворяна побежали
И окошко затворяли.
Вот Иван мешок на стол:
«Ну-ка, бабушка, пошел!»
Свет такой тут вдруг разлился,

Что весь люд рукой закрылся.
Царь кричит на весь базар:
«Ахти, батюшки, пожар!
Эй, решеточных{*Решеточные* – тюремные сторожа, они же – пожарные.} сзывайте!
Заливайте! Заливайте!» —
«Это, слышь ты, не пожар,
Это свет от Птицы-жар, —
Молвил ловчий, сам со смеху
Надрывался. – Потеху
Я привез те, государь!»
Говорит Ивану царь:
«Вот люблю дружка Ванюшу!
Взвеселил мою ты душу,
И на радости такой —
Будь же царский стремянной{*Стремянно́й* – придворный, который ухаживал за верховой лошадью царя и должен был находиться у стремени при царском выезде.}!»

Это видя, хитрый спальник,
Прежний ко́нюших начальник,
Говорит себе под нос:
«Нет, постой, молокосос!
Не всегда тебе случится
Так канальски отличиться,
Я те снова подведу,
Мой дружочек, под беду!»

Через три потом недели
Вечерком одним сидели
В царской кухне повара
И служители двора;
Попивали мед из жбана
Да читали Еруслана.
«Эх, – один слуга сказал, —
Как севодни я достал
От соседа чудо-книжку!
В ней страниц не так чтоб слишком,
Да и сказок только пять,
А уж сказки – вам сказать,
Так не можно надивиться;
Надо ж этак умудриться!»
Тут все в голос: «Удружи!
Расскажи, брат, расскажи!» —

«Ну, какую ж вы хотите?
Пять ведь сказок; вот смотрите:
Перва сказка о *бобре,*
А вторая о *царе,*
Третья… дай Бог память… точно!
О боярыне восточной;
Вот в четвертой: *князь Бобыл;*
В пятой… в пятой… эх, забыл!
В пятой сказке говорится…
Так в уме вот и вертится…» —
«Ну, да брось ее!» – «Постой!..» —
«О красотке, что ль, какой?» —
«Точно! В пятой говорится
О прекрасной Царь-девице.
Ну, которую ж, друзья,
Расскажу сегодня я?» —
«Царь-девицу! – все кричали. —
О царях мы уж слыхали,
Нам красоток-то скорей!
Их и слушать веселей!»
И слуга, усевшись важно,
Стал рассказывать протяжно:

«У далеких немских{*Не́мские* – иноземные (от слова «немец» – так на Руси называли всех иностранцев).} стран
Есть, ребята, окиян.
По тому ли окияну
Ездят только басурманы;
С православной же земли
Не бывали николи
Ни дворяне, ни миряне
На поганом окияне.
От гостей же слух идет,
Что девица там живет;
Но девица не простая,
Дочь, вишь, Месяцу родная,
Да и Солнышко ей брат.
Та девица, говорят,
Ездит в красном полушубке,
В золотой, ребята, шлюпке
И серебряным веслом
Самолично правит в нем;
Разны песни попевает

И на гуселькaх играет…»

Спальник тут с полатей скок —
И со всех обеих ног
Во дворец к царю пустился
И как раз к нему явился;
Стукнул крепко об пол лбом
И запел царю потом:
«Я с повинной головою,
Царь, явился пред тобою,
Не вели меня казнить,
Прикажи мне говорить». —
«Говори, да правду только,
И не ври, смотри, нисколько!» —
Царь с кровати закричал.
Хитрый спальник отвечал:
«Мы сегодня в кухне были,
За твое здоровье пили,
А один из дворских слуг
Нас забавил сказкой вслух;
В этой сказке говорится
О прекрасной Царь-девице.
Вот твой царский стремянной
Поклялся твоей брадой,
Что он знает эту птицу —
Так он на́звал Царь-девицу,
И ее, изволишь знать,
Похваляется достать».
Спальник стукнул об пол снова.
«Гей, позвать мне стремяннова!» —
Царь посыльным закричал.
Спальник тут за печку стал;
А посыльные дворяна
Побежали по Ивана;
В крепком сне его нашли
И в рубашке привели.

Царь так начал речь: «Послушай,
На тебя донос, Ванюша.
Говорят, что вот сейчас
Похвалялся ты для нас
Отыскать другую птицу,
Сиречь молвить{*Сиречь молвить* – иначе сказать, то есть.}, Царь-девицу…» —

«Что ты, что ты, Бог с тобой! —
Начал царский стремянной. —
Чай, спросонков, я толкую,
Штуку выкинул такую.
Да хитри себе как хошь,
А меня не проведешь».
Царь, затрясши бородою:
«Что, рядиться мне с тобою? —
Закричал он. – Но смотри,
Если ты недели в три
Не достанешь Царь-девицу
В нашу царскую светлицу,
То, клянуся бородой,
Ты поплатишься со мной:
На правеж – в решетку – на́ кол!
Вон, холоп!» Иван заплакал
И пошел на сеновал,
Где конек его лежал.

«Что, Иванушка, невесел?
Что головушку повесил? —
Говорит ему конек, —
Аль, мой милый, занемог?
Аль попался к лиходею?»
Пал Иван к коньку на шею,
Обнимал и целовал.
«Ох, беда, конек, – сказал. —
Царь велит в свою светлицу
Мне достать, слышь, Царь-девицу.
Что мне делать, горбунок?»
Говорит ему конек:
«Велика беда, не спорю;
Но могу помочь я горю.
Оттого беда твоя,
Что не слушался меня.
Но, сказать тебе по дружбе,
Это – службишка, не служба;
Служба все, брат, впереди.
Ты к царю теперь поди
И скажи: «Ведь для поимки
Надо, царь, мне две ширинки{*Шири́нка* – широкое, во всю ширину полотна полотенце.},
Шитый золотом шатер
Да обеденный прибор —

Весь заморского варенья{Литая металлическая посуда, привезенная из-за моря.}
И сластей для прохлажденья».

Вот Иван к царю идет
И такую речь ведет:
«Для царевниной поимки
Надо, царь, мне две ширинки,
Шитый золотом шатер
Да обеденный прибор —
Весь заморского варенья —
И сластей для прохлажденья».
«Вот давно бы так, чем нет», —
Царь с кровати дал ответ
И велел, чтобы дворяна
Все сыскали для Ивана,
Молодцом его назвал
И «счастливый путь!» сказал.

На другой день, утром рано,
Разбудил конек Ивана:
«Гей! Хозяин! полно спать!
Время дело исправлять!»
Вот Иванушка поднялся,
В путь-дорожку собирался,
Взял ширинки и шатер
Да обеденный прибор —
Весь заморского варенья —
И сластей для прохлажденья;
Все в мешок дорожный склал
И веревкой завязал,
Потеплее приоделся,
На коньке своем уселся,
Вынул хлеба ломоток
И поехал на восток
По тое ли Царь-девицу.

Едут целую седмицу,
Напоследок, в день осьмой,
Приезжают в лес густой.
Тут сказал конек Ивану:
«Вот дорога к окияну,
И на нем-то круглый год
Та красавица живет;

Два раза она лишь сходит
С окияна и приводит
Долгий день на землю к нам. —
Вот увидишь завтра сам».
И, окончив речь к Ивану,
Выбегает к окияну,
На котором белый вал
Одинешенек гулял.
Тут Иван с конька слезает,
А конек ему вещает:
«Ну, раскидывай шатер,
На ширинку ставь прибор
Из заморского варенья
И сластей для прохлажденья.
Сам ложися за шатром
Да смекай себе умом.
Видишь, шлюпка вон мелькает.
То царевна подплывает.
Пусть в шатер она войдет,
Пусть покушает, попьет;
Вот, как в гусли заиграет —
Знай, уж время наступает.
Ты тотчас в шатер вбегай,
Ту царевну сохватай,
И держи ее сильнее,
Да зови меня скорее.
Я на первый твой приказ
Прибегу к тебе как раз,
И поедем… Да смотри же,
Ты гляди за ней поближе,
Если ж ты ее проспишь,
Так беды не избежишь».
Тут конек из глаз сокрылся,
За шатер Иван забился
И давай диру вертеть,
Чтоб царевну подсмотреть.

Ясный полдень наступает;
Царь-девица подплывает,
Входит с гуслями в шатер
И садится за прибор.
«Хм! Так вот та Царь-девица!
Как же в сказках говорится, —
Рассуждает стремянной, —

Что куда красна собой
Царь-девица, так что диво!
Эта вовсе не красива:
И бледна-то и тонка;
Чай, в обхват-то три вершка;
А ножонка-то, ножонка!
Тьфу ты! Словно у цыпленка!
Пусть полюбится кому,
Я и даром не возьму».
Тут царевна заиграла
И столь сладко припевала,
Что Иван, не зная как,
Прикорнулся на кулак;
И под голос тихий, стройный
Засыпает преспокойно.

Запад тихо догорал.
Вдруг конек над ним заржал
И, толкнув его копытом,
Крикнул голосом сердитым:
«Спи, любезный, до звезды!
Высыпай себе беды!
Не меня ведь вздернут на́ кол!»
Тут Иванушка заплакал
И, рыдаючи, просил,
Чтоб конек его простил.
«Отпусти вину Ивану,
Я вперед уж спать не стану». —
«Ну, уж Бог тебя простит! —
Горбунок ему кричит. —
Все поправим, может статься,
Только, чур, не засыпаться;
Завтра, рано поутру,
К златошвейному шатру
Приплывет опять девица —
Меду сладкого напиться.
Если ж снова ты заснешь,
Головы уж не снесешь».
Тут конек опять сокрылся;
А Иван сбирать пустился
Острых ка́мней и гвоздей
От разбитых кораблей
Для того, чтоб уколоться,
Если вновь ему вздремнется.

На другой день, поутру,
К златошвейному шатру
Царь-девица подплывает,
Шлюпку на берег бросает,
Входит с гуслями в шатер
И садится за прибор…
Вот царевна заиграла
И столь сладко припевала,
Что Иванушке опять
Захотелося поспать.
«Нет, постой же ты, дрянная! —
Говорит Иван, вставая. —
Ты вдруго́рядь не уйдешь
И меня не проведешь».
Тут в шатер Иван вбегает,
Косу длинную хватает…
«Ой, беги, конек, беги!
Горбунок мой, помоги!»
Вмиг конек к нему явился.
«Ай, хозяин, отличился!
Ну, садись же поскорей,
Да держи ее плотней!»

Вот столицы достигает.
Царь к царевне выбегает.
За белы руки берет,
Во дворец ее ведет
И садит за стол дубовый
И под занавес шелковый,
В глазки с нежностью глядит,
Сладки речи говорит:
«Бесподобная девица!
Согласися быть царица!
Я тебя едва узрел —
Сильной страстью воскипел.
Соколины твои очи
Не дадут мне спать средь ночи
И во время бела дня,
Ох! измучают меня.
Молви ласковое слово!
Все для свадьбы уж готово;
Завтра ж утром, светик мой,
Обвенчаемся с тобой

И начнем жить, припевая».
А царевна молодая,
Ничего не говоря,
Отвернулась от царя.
Царь нисколько не сердился,
Но сильней еще влюбился;
На колен пред нею стал,
Ручки нежно пожимал
И балясы{*Баля́сы* – пустые речи, болтовня.} начал снова:
«Молви ласковое слово!
Чем тебя я огорчил?
Али тем, что полюбил?
О, судьба моя плачевна!»
Говорит ему царевна:
«Если хочешь взять меня,
То доставь ты мне в три дня
Перстень мой из окияна!» —
«Гей! Позвать ко мне Ивана!» —
Царь поспешно закричал
И чуть сам не побежал.

Вот Иван к царю явился,
Царь к нему оборотился
И сказал ему: «Иван!
Поезжай на окиян;
В окияне том хранится
Перстень, слышь ты, Царь-девицы.
Коль достанешь мне его,
Задарю тебя всего». —
«Я и с первой-то дороги
Волочу насилу ноги —
Ты опять на окиян!» —
Говорит царю Иван.
«Как же, плут, не торопиться:
Видишь, я хочу жениться! —
Царь со гневом закричал
И ногами застучал. —
У меня не отпирайся,
А скорее отправляйся!»
Тут Иван хотел идти.
«Эй, послушай! По пути, —
Говорит ему царица, —
Заезжай ты поклониться
В изумрудный терем мой

Да скажи моей родной:
Дочь ее узнать желает,
Для чего она скрывает
По три ночи, по три дня
Лик свой ясный от меня?
И зачем мой братец красный
Завернулся в мрак ненастный
И в туманной вышине
Не пошлет луча ко мне?
Не забудь же!» – «Помнить буду,
Если только не забуду;
Да ведь надо же узнать,
Кто те братец, кто те мать,
Чтоб в родне-то нам не сбиться».
Говорит ему царица:
«Месяц – мать мне, Солнце – брат». —
«Да смотри, в три дня назад!» —
Царь-жених к тому прибавил.
Тут Иван царя оставил
И пошел на сеновал,
Где конек его лежал.

«Что, Иванушка, невесел?
Что головушку повесил? —
Говорит ему конек.
«Помоги мне, горбунок!
Видишь, вздумал царь жениться,
Знашь, на тоненькой царице,
Так и шлет на окиян, —
Говорит коньку Иван, —
Дал мне сроку три дня только;
Тут попробовать изволь-ка
Перстень дьявольский достать!
Да велела заезжать
Эта тонкая царица
Где-то в терем поклониться
Солнцу, Месяцу, притом
И спрошать кое об чем…»
Тут конек: «Сказать по дружбе,
Это – службишка, не служба;
Служба все, брат, впереди.
Ты теперя спать поди;
А назавтра, утром рано,
Мы поедем к окияну».

На другой день наш Иван,
Взяв три луковки в карман,
Потеплее приоделся,
На коньке своем уселся
И поехал в дальний путь…
Дайте, братцы, отдохнуть!

Часть третья
Доселева Макар огороды копал, а нынече Макар в воеводы попал

Та-ра-ра-ли, та-ра-ра!
Вышли кони со двора;
Вот крестьяне их поймали
Да покрепче привязали.
Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу;
Как во трубушку играет,
Православных потешает:
«Эй! Послушай, люд честной!
Жили-были муж с женой;
Муж-то примется за шутки,
А жена за прибаутки,
И пойдет у них тут пир,
Что на весь крещеный мир!»
Это присказка ведется,
Сказка послее начнется.
Как у наших у ворот
Муха песенку поет:
«Что дадите мне за вестку?
Бьет свекровь свою невестку:
Посадила на шесток{*Шесто́к* – предпечье, место перед печной топкой.},
Привязала за шнурок,
Ручки к ножкам притянула,
Ножку правую разула:
«Не ходи ты по зарям!
Не кажися молодцам!»
Это присказка велася,
Вот и сказка началася.

Ну-с, так едет наш Иван

За кольцом на окиян.
Горбунок летит, как ветер,
И в почин{*В почи́н* – для начала.} на первый вечер
Верст сто тысяч отмахал
И нигде не отдыхал.

Подъезжая к окияну,
Говорит конек Ивану:
«Ну, Иванушка, смотри,
Вот минутки через три
Мы приедем на поляну —
Прямо к морю-окияну;
Поперек его лежит
Чудо-юдо Рыба-кит;
Десять лет уж он страдает,
А доселева не знает,
Чем прощенье получить;
Он учнет тебя просить,
Чтоб ты в Солнцевом селенье
Попросил ему прощенье;
Ты исполнить обещай,
Да, смотри ж, не забывай!»
Вот въезжает на поляну
Прямо к морю-окияну;
Поперек его лежит
Чудо-юдо Рыба-кит.
Все бока его изрыты,
Частоколы в ребра вбиты,
На хвосте сыр-бор шумит,
На спине село стоит;
Мужички на гу́бе пашут,
Между глаз мальчишки пляшут,
А в дубраве, меж усов,
Ищут девушки грибов.

Вот конек бежит по ки́ту,
По костям стучит копытом.
Чудо-юдо Рыба-кит
Так проезжим говорит,
Рот широкий отворяя,
Тяжко, горько воздыхая:
«Путь-дорога, господа!
Вы откуда и куда?» —
«Мы послы от Царь-девицы,

Едем оба из столицы, —
Говорит киту конек, —
К Солнцу прямо на восток,
Во хоромы золотые». —
«Так нельзя ль, отцы родные,
Вам у Солнышка спросить:
Долго ль мне в опале быть,
И за кои прегрешенья
Я терплю беды-мученья?» —
«Ладно, ладно, Рыба-кит!» —
Наш Иван ему кричит.
«Будь отец мне милосердный!
Вишь, как мучуся я, бедный!
Десять лет уж тут лежу…
Я и сам те услужу!..» —
Кит Ивана умоляет,
Сам же горько воздыхает.
«Ладно, ладно, Рыба-кит!» —
Наш Иван ему кричит.
Тут конек под ним забился,
Прыг на берег – и пустился;
Только видно, как песок
Вьется вихорем у ног.

Едут близко ли, далеко,
Едут низко ли, высоко
И увидели ль кого —
Я не знаю ничего.
Скоро сказка говорится,
Дело мешкотно{*Ме́шкотно* – медленно, долго.} творится.
Только, братцы, я узнал,
Что конек туда вбежал,
Где (я слышал стороною)
Небо сходится с землею,
Где крестьянки лен прядут,
Прялки на небо кладут.

Тут Иван с землей простился
И на небе очутился,
И поехал, будто князь,
Шапка набок, подбодрясь.
«Эко диво! Эко диво!
Наше царство хоть красиво, —
Говорит коньку Иван

Средь лазоревых полян, —
А как с небом-то сравнится,
Так под стельку не годится.
Что земля-то!.. Ведь она
И черна-то и грязна;
Здесь земля-то голубая,
А уж светлая какая!..
Посмотри-ка, горбунок,
Видишь, вон где, на восток,
Словно светится зарница…
Чай, небесная светлица…
Что-то больно высока!» —
Так спросил Иван конька.
«Это терем Царь-девицы,
Нашей будущей царицы, —
Горбунок ему кричит, —
По ночам здесь Солнце спит,
А полуденной порою
Месяц входит для покою».

Подъезжают; у ворот
Из столбов хрустальный свод;
Все столбы те завитые
Хитро в змейки золотые;
На верхушках три звезды,
Вокруг терема сады;
На серебряных там ветках,
В раззолоченных во клетках
Птицы райские живут,
Песни царские поют.
А ведь терем с теремами
Будто город с деревнями;
А на тереме из звезд —
Православный русский крест.

Вот конек во двор въезжает;
Наш Иван с него слезает,
В терем к Месяцу идет
И такую речь ведет:
«Здравствуй, Месяц Месяцович,
Я – Иванушка Петрович,
Из далеких я сторон
И привез тебе поклон». —
«Сядь, Иванушка Петрович! —

Молвил Месяц Месяцович. —
И поведай мне вину{*Вина* – здесь: причина.}
В нашу светлую страну
Твоего с земли прихода;
Из какого ты народа,
Как попал ты в этот край, —
Все скажи мне, не утай». —
«Я с земли пришел Землянской,
Из страны ведь христианской, —
Говорит, садясь, Иван, —
Переехал окиян
С порученьем от царицы —
В светлый терем поклониться
И сказать вот так, постой:
«Ты скажи моей родной:
Дочь ее узнать желает,
Для чего она скрывает
По три ночи, по три дня
Лик какой-то от меня;
И зачем мой братец красный
Завернулся в мрак ненастный
И в туманной вышине
Не пошлет луча ко мне?»
Так, кажися? Мастерица
Говорить красно царица;
Не припомнишь все сполна,
Что сказала мне она». —
«А какая то царица?» —
«Это, знаешь, Царь-девица». —
«Царь-девица?.. Так она,
Что ль, тобой увезена?» —
Вскрикнул Месяц Месяцович.
А Иванушка Петрович
Говорит: «Известно, мной!
Вишь, я царский стремянной;
Ну, так царь меня отправил,
Чтобы я ее доставил
В три недели во дворец;
А не то меня отец
Посадить грозился на́ кол».
Месяц с радости заплакал,
Ну Ивана обнимать,
Целовать и миловать.
«Ах, Иванушка Петрович! —

Молвил Месяц Месяцович. —
Ты принес такую весть,
Что не знаю, чем и счесть!
А уж мы как горевали,
Что царевну потеряли!..
Оттого-то, видишь, я
По три ночи, по три дня
В темном облаке ходила,
Все грустила да грустила,
Трое суток не спала,
Крошки хлеба не брала,
Оттого-то сын мой красный
Завернулся в мрак ненастный,
Луч свой жаркий погасил,
Миру Божью не светил:
Все грустил, вишь, по сестрице,
Той ли красной Царь-девице.
Что, здорова ли она?
Не грустна ли? Не больна?» —
«Всем бы, кажется, красотка,
Да у ней, кажись, сухотка{*Сухотка* – сухота, болезненная худоба.}:
Ну, как спичка{*Спичка* – спица, вязальная игла, лучина.}, слышь, тонка,
Чай, в обхват-то три вершка;
Вот как замуж-то поспеет,
Так небось и потолстеет.
Царь, слышь, женится на ней».
Месяц вскрикнул: «Ах, злодей!
Вздумал в семьдесят жениться
На молоденькой девице!
Да стою я крепко в том —
Просидит он женихом!
Вишь, что старый хрен затеял:
Хочет жать там, где не сеял!
Полно, лаком больно стал!»
Тут Иван опять сказал:
«Есть еще к тебе прошенье.
То о ки́товом прощенье…
Есть, вишь, море; чудо-кит
Поперек его лежит:
Все бока его изрыты,
Частоколы в ребра вбиты…
Он, бедняк, меня прошал,

Чтобы я тебя спрошал:
Скоро ль кончится мученье?
Чем сыскать ему прощенье?
И на что он тут лежит?»
Месяц ясный говорит:
«Он за то несет мученье,
Что без Божия веленья
Проглотил среди морей
Три десятка кораблей.
Если даст он им свободу,
Снимет Бог с него невзгоду.
Вмиг все раны заживит,
Долгим веком наградит».

Тут Иванушка поднялся,
С светлым Месяцем прощался,
Крепко шею обнимал,
Трижды в щеки целовал.
«Ну, Иванушка Петрович! —
Молвил Месяц Месяцович. —
Благодарствую тебя
За сынка и за себя.
Отнеси благословенье
Нашей дочке в утешенье
И скажи моей родной:
«Мать твоя всегда с тобой;
Полно плакать и крутиться:
Скоро грусть твоя решится, —
И не старый, с бородой,
А красавец молодой
Поведет тебя к налою{*Нало́й (аналой)* – столик в церкви с покатым верхом, во время венчания вокруг него обводят жениха и невесту; *повести к налою* – обвенчаться, жениться.}».
Ну, прощай же! Бог с тобою!»
Поклонившись, как умел,
На конька Иван тут сел,
Свистнул, словно витязь знатный,
И пустился в путь обратный.

На другой день наш Иван
Вновь пришел на окиян.
Вот конек бежит по ки́ту,
По костям стучит копытом.

Чудо-юдо Рыба-кит
Так, вздохнувши, говорит:
«Что, отцы, мое прошенье?
Получу ль когда прощенье?» —
«Погоди ты, Рыба-кит!» —
Тут конек ему кричит.

Вот в село он прибегает,
Мужиков к себе сзывает,
Черной гривкою трясет
И такую речь ведет:
«Эй, послушайте, миряне,
Православны христиане!
Коль не хочет кто из вас
К водяному сесть в приказ{То есть утонуть, пойти ко дну.},
Убирайся вмиг отсюда.
Здесь тотчас случится чудо:
Море сильно закипит,
Повернется Рыба-кит…»
Тут крестьяне и миряне,
Православны христиане,
Закричали: «Быть бедам!»
И пустились по домам.
Все телеги собирали;
В них, не мешкая, поклали
Все, что было живота{*Живот* – здесь: нажитое добро, имущество.},
И оставили кита.
Утро с полднем повстречалось,
А в селе уж не осталось
Ни одной души живой,
Словно шел Мамай{*Мама́й* – ордынский хан, жестокий завоеватель, был разбит Дмитрием Донским на Куликовом поле.} войной!

Тут конек на хвост вбегает,
К перьям близко прилегает
И что мочи есть кричит:
«Чудо-юдо Рыба-кит!
Оттого твои мученья,
Что без Божия веленья
Проглотил ты средь морей
Три десятка кораблей.

Если дашь ты им свободу,
Снимет Бог с тебя невзгоду,
Вмиг все раны заживит,
Долгим веком наградит».
И, окончив речь такую,
Закусил узду стальную,
Понатужился – и вмиг
На далекий берег прыг.

Чудо-кит зашевелился,
Словно холм поворотился,
Начал море волновать
И из челюстей бросать
Корабли за кораблями
С парусами и гребцами.

Тут поднялся шум такой,
Что проснулся царь морской:
В пушки медные палили,
В трубы кованы трубили;
Белый парус поднялся,
Флаг на мачте развился;
Поп с причетом всем служебным{*Причет* – священник и дьякон с псаломщиком, состоящие при одной церкви.}
Пел на палубе молебны;
А гребцов веселый ряд
Грянул песню наподхват:
«Как по моречку, по морю,
По широкому раздолью,
Что на самый край земли,
Выбегают корабли…»

Волны моря заклубились,
Корабли из глаз сокрылись.
Чудо-юдо Рыба-кит
Громким голосом кричит,
Рот широкий отворяя,
Плесом{*Плес* – рыбий хвост.} волны разбивая:
«Чем вам, друга, услужить?
Чем за службу наградить?
Надо ль раковин цветистых?
Надо ль рыбок золотистых?
Надо ль крупных жемчугов?
Все достать для вас готов!» —

«Нет, кит-рыба, нам в награду
Ничего того не надо, —
Говорит ему Иван, —
Лучше перстень нам достань —
Перстень, знаешь, Царь-девицы,
Нашей будущей царицы». —
«Ладно, ладно! Для дружка
И сережку из ушка!
Отыщу я до зарницы
Перстень красной Царь-девицы»,
Кит Ивану отвечал
И, как ключ, на дно упал.
Вот он плесом ударяет,
Громким голосом сзывает
Осетриный весь народ
И такую речь ведет:
«Вы достаньте до зарницы
Перстень красной Царь-девицы,
Скрытый в ящичке на дне.
Кто его доставит мне,
Награжу того я чином:
Будет думным дворянином{*Ду́мный дворянин* – младший член царской думы.}.
Если ж строгий мой приказ
Не исполните… я вас!..»
Осетры тут поклонились
И в порядке удалились.

Через несколько часов
Двое белых осетров
К ки́ту медленно подплыли
И смиренно говорили:
«Царь великий! Не гневись!
Мы все море уж, кажись,
Исходили и изрыли,
Но и знаку не открыли.
Только Ёрш один из нас
Совершил бы твой приказ:
Он по всем морям гуляет,
Так уж, верно, перстень знает;
Но его, как бы назло,
Уж куда-то унесло». —
«Отыскать его в минуту
И послать в мою каюту!» —

Кит сердито закричал
И усами закачал.

Осетры тут поклонились,
В земский суд бежать пустились
И велели в тот же час
От кита писать указ,
Чтоб гонцов скорей послали
И Ерша того поймали.
Лещ, услыша сей приказ,
Именной писал указ;
Сом (советником он звался)
Под указом подписался;
Черный рак указ сложил
И печати приложил.
Двух дельфинов тут призвали
И, отдав указ, сказали,
Чтоб, от имени царя,
Обежали все моря
И того Ерша-гуляку,
Крикуна и забияку,
Где бы ни было нашли,
К государю привели.
Тут дельфины поклонились
И Ерша искать пустились.

Ищут час они в морях,
Ищут час они в реках,
Все озера исходили,
Все проливы переплыли,
Не могли Ерша сыскать
И вернулися назад,
Чуть не плача от печали…

Вдруг дельфины услыхали,
Где-то в маленьком пруде
Крик неслыханный в воде.
В пруд дельфины завернули
И на дно его нырнули,
Глядь: в пруде, под камышом,
Ёрш дерется с Карасем.
«Смирно! Черти б вас побрали!
Вишь, какой содом подняли,
Словно важные бойцы!» —

Закричали, им гонцы.
«Ну, а вам какое дело? —
Ёрш кричит дельфинам смело. —
Я шутить ведь не люблю,
Разом всех переколю!» —
«Ох ты, вечная гуляка,
И крикун, и забияка!
Все бы, дрянь, тебе гулять,
Все бы драться да кричать.
Дома – нет ведь, не сидится!..
Ну, да что с тобой рядиться, —
Вот тебе царев указ,
Чтоб ты плыл к нему тотчас».

Тут проказника дельфины
Подхватили за щетины
И отправились назад.
Ёрш ну рваться и кричать:
«Будьте милостивы, братцы!
Дайте чуточку подраться.
Распроклятый тот Карась
Поносил меня вчерась
При честном при всем собранье
Неподобной разной бранью…»
Долго Ёрш еще кричал,
Наконец и замолчал;
А проказника дельфины
Все тащили за щетины,
Ничего не говоря,
И явились пред царя.

«Что ты долго не являлся?
Где ты, вражий сын, шатался?» —
Кит со гневом закричал.
На колени Ёрш упал,
И, признавшись в преступленье,
Он молился о прощенье.
«Ну, уж Бог тебя простит! —
Кит державный говорит. —
Но за то твое прощенье
Ты исполни повеленье». —
«Рад стараться, Чудо-кит!» —
На коленях Ёрш пищит.
«Ты по всем морям гуляешь,

Так уж, верно, перстень знаешь
Царь-девицы?» – «Как не знать!
Можем разом отыскать». —
«Так ступай же поскорее
Да сыщи его живее!»

Тут, отдав царю поклон,
Ёрш пошел, согнувшись, вон.
С царской дворней побранился,
За плотвой поволочился
И салакушкам шести
Нос разбил он по пути.
Совершив такое дело,
В омут кинулся он смело
И в подводной глубине
Вырыл ящичек на дне —
Пуд по крайней мере во́ сто.
«О, здесь дело-то не просто!»
И давай из всех морей
Ёрш скликать к себе сельдей.

Сельди духом собралися,
Сундучок тащить взялися,
Только слышно и всего —
«У-у-у!» да «О-о-о!».
Но сколь сильно ни кричали,
Животы лишь надорвали,
А проклятый сундучок
Не дался и на вершок.
«Настоящие селедки!
Вам кнута бы вместо водки!» —
Крикнул Ёрш со всех сердцов
И нырнул по осетров.

Осетры тут приплывают
И без крика подымают
Крепко ввязнувший в песок
С перстнем красный сундучок.
«Ну, ребятушки, смотрите,
Вы к царю теперь плывите,
Я ж пойду теперь ко дну
Да немножко отдохну:
Что-то сон одолевает,
Так глаза вот и смыкает…»

Осетры к царю плывут,
Ёрш-гуляка прямо в пруд
(Из которого дельфины
Утащили за щетины),
Чай, додраться с Карасем, —
Я не ведаю о том.
Но теперь мы с ним простимся
И к Ивану возвратимся.

Тихо море-окиян.
На песке сидит Иван,
Ждет кита из синя моря
И мурлыкает от горя;
Повалившись на песок,
Дремлет верный горбунок.
Время к вечеру клонилось;
Вот уж солнышко спустилось;
Тихим пламенем горя,
Развернулася заря.
А кита не тут-то было.
«Чтоб те, вора, задавило!
Вишь, какой морской шайтан! —
Говорит себе Иван. —
Обещался до зарницы
Вынесть перстень Царь-девицы,
А доселе не сыскал,
Окаянный зубоскал!
А уж солнышко-то село,
И…» Тут море закипело:
Появился Чудо-кит
И к Ивану говорит:
«За твое благодеянье
Я исполнил обещанье».
С этим словом сундучок
Брякнул плотно на песок,
Только берег закачался.
«Ну, теперь я расквитался.
Если ж вновь принужусь{*Принýжусь* – пригожусь, понадоблюсь.} я,
Позови опять меня;
Твоего благодеянья
Не забыть мне… До свиданья!»
Тут Кит-чудо замолчал
И, всплеснув, на дно упал.

Горбунок-конек проснулся,
Встал на лапки, отряхнулся,
На Иванушку взглянул
И четырежды прыгну́л.
«Ай да Кит Китович! Славно!
Долг свой выплатил исправно!
Ну, спасибо, Рыба-кит! —
Горбунок-конек кричит. —
Что ж, хозяин, одевайся,
В путь-дорожку отправляйся;
Три денька ведь уж прошло:
Завтра срочное число.
Чай, старик уж умирает».
Тут Ванюша отвечает:
«Рад бы с радостью поднять,
Да ведь силы не занять!
Сундучишко больно плотен,
Чай, чертей в него пять сотен
Кит проклятый насажал.
Я уж трижды подымал:
Тяжесть страшная такая!»
Тут конек, не отвечая,
Поднял ящичек ногой,
Будто камушек какой,
И взмахнул к себе на шею.
«Ну, Иван, садись скорее!
Помни, завтра минет срок,
А обратный путь далек».

Стал четвертый день зориться,
Наш Иван уже в столице.
Царь с крыльца к нему бежит,
«Что кольцо мое?» – кричит.
Тут Иван с конька слезает
И преважно отвечает:
«Вот тебе и сундучок!
Да вели-ка скликать полк:
Сундучишко мал хоть на́ вид,
Да и дьявола задавит».
Царь тотчас стрельцов позвал
И немедля приказал
Сундучок отнесть в светлицу.
Сам пошел по Царь-девицу.

«Перстень твой, душа, найден, —
Сладкогласно молвил он, —
И теперь, примолвить снова,
Нет препятства никакого
Завтра утром, светик мой,
Обвенчаться мне с тобой.
Но не хочешь ли, дружочек,
Свой увидеть перстенечек?
Он в дворце моем лежит».
Царь-девица говорит:
«Знаю, знаю! Но, признаться,
Нам нельзя еще венчаться». —
«Отчего же, светик мой?
Я люблю тебя душой,
Мне, прости мою ты смелость,
Страх жениться захотелось.
Если ж ты… то я умру
Завтра ж с горя поутру.
Сжалься, матушка царица!»
Говорит ему девица:
«Но взгляни-ка, ты ведь сед;
Мне пятнадцать только лет:
Как же можно нам венчаться?
Все цари начнут смеяться,
Дед-то, скажут, внуку взял!»
Царь со гневом закричал:
«Пусть-ка только засмеются —
У меня как раз свернутся:
Все их царства полоню!
Весь их род искореню!» —
«Пусть не станут и смеяться,
Все не можно нам венчаться, —
Не растут зимой цветы:
Я красавица, а ты?..
Чем ты можешь похвалиться?»
Говорит ему девица.
«Я хоть стар, да я удал! —
Царь царице отвечал. —
Как немножко приберуся,
Хоть кому так покажуся
Разудалым молодцом.
Ну, да что нам нужды в том?
Лишь бы только нам жениться».
Говорит ему девица:

«А такая в том нужда, —
Что не выйду никогда
За дурного, за седого,
За беззубого такого!»
Царь в затылке почесал
И, нахмуряся, сказал:
«Что ж мне делать-то, царица?
Страх как хочется жениться;
Ты же ровно на беду:
Не пойду да не пойду!» —
«Не пойду я за седого, —
Царь-девица молвит снова. —
Стань, как прежде, молодец,
Я тотчас же под венец». —
«Вспомни, матушка царица,
Ведь нельзя переродиться;
Чудо Бог один творит».
Царь-девица говорит:
«Коль себя не пожалеешь,
Ты опять помолодеешь.
Слушай, завтра на заре
На широком на дворе
Должен челядь ты заставить
Три котла больших поставить
И костры под них сложить.
Первый надобно налить
До краев водой студеной,
А второй – водой вареной,
А последний – молоком,
Вскипятя его ключом.
Вот, коль хочешь ты жениться
И красавцем учиниться, —
Ты, без платья, налегке,
Искупайся в молоке;
Тут побудь в воде вареной,
А потом еще в студеной.
И скажу тебе, отец,
Будешь знатный молодец!»

Царь не вымолвил ни слова,
Кликнул тотчас стремяннова.
«Что, опять на окиян? —
Говорит царю Иван. —
Нет, уж дудки, ваша милость!

Уж и то во мне все сбилось.
Не поеду ни за что!» —
«Нет, Иванушка, не то,
Завтра я хочу заставить
Во дворе котлы поставить
И костры под них сложить.
Первый думаю налить
До краев водой студеной,
А второй – водой вареной,
А последний – молоком,
Вскипятя его ключом.
Ты же должен постараться,
Пробы ради, искупаться
В этих трех больших котлах,
В молоке и в двух водах». —
«Вишь, откуда подъезжает! —
Речь Иван тут начинает. —
Шпарят только поросят,
Да индюшек, да цыплят;
Я ведь, глянь, не поросенок,
Не индюшка, не цыпленок.
Вот в холодной, так оно
Искупаться бы можно́,
А подваривать как станешь,
Так меня и не заманишь.
Полно, царь, хитрить-мудрить
Да Ивана проводить!»
Царь, затрясши бородою:
«Что? Рядиться мне с тобою? —
Закричал он. – Но смотри!
Если ты в рассвет зари
Не исполнишь повеленье,
Я отдам тебя в мученье,
Прикажу тебя пытать,
По кусочкам разрывать.
Вон отсюда, болесть{*Бо́лесть* – падучая болезнь; здесь используется как бранное слово.} злая!»
Тут Иванушка, рыдая,
Поплелся на сеновал,
Где конек его лежал.

«Что, Иванушка, невесел?
Что головушку повесил? —
Говорит ему конёк. —

Чай, наш старый женишок
Снова выкинул затею?»
Пал Иван к коньку на шею,
Обнимал и целовал.
«Ох, беда, конёк! – сказал. —
Царь вконец меня сбывает;
Сам подумай, заставляет
Искупаться мне в котлах,
В молоке и в двух водах:
Как в одной воде студёной,
А в другой воде варёной,
Молоко, слышь, кипяток».
Говорит ему конёк:
«Вот уж служба, так уж служба!
Тут нужна моя вся дружба.
Как же к слову не сказать:
Лучше б нам пера не брать;
От него-то, от злодея,
Столько бед тебе на шею…
Ну, не плачь же, Бог с тобой!
Сладим как-нибудь с бедой.
И скорее сам я сгину,
Чем тебя, Иван, покину.
Слушай, завтра на заре
В те поры, как на дворе
Ты разденешься, как должно,
Ты скажи царю: «Не можно ль,
Ваша милость, приказать
Горбунка ко мне послать,
Чтоб впоследни с ним проститься».
Царь на это согласится.
Вот как я хвостом махну,
В те котлы мордой макну,
На тебя два раза прысну,
Громким посвистом присвистну,
Ты, смотри же, не зевай
В молоко сперва ныряй,
Тут в котел с водой вареной,
А оттудова в студеной.
А теперича молись
Да спокойно спать ложись».

На другой день, утром рано,
Разбудил конек Ивана:

«Эй, хозяин, полно спать!
Время службу исполнять».
Тут Ванюша почесался,
Потянулся и поднялся,
Помолился на забор
И пошел к царю во двор.

Там котлы уже кипели;
Подле них рядком сидели
Кучера и повара
И служители двора;
Дров усердно прибавляли,
Об Иване толковали
Втихомолку меж собой
И смеялися порой.

Вот и двери растворились,
Царь с царицей появились
И готовились с крыльца
Посмотреть на удальца.
«Ну, Ванюша, раздевайся
И в котлах, брат, покупайся!» —
Царь Ивану закричал.
Тут Иван одежду снял,
Ничего не отвечая,
А царица молодая,
Чтоб не видеть наготу,
Завернулася в фату.
Вот Иван к котлам поднялся,
Глянул в них – и зачесался.
«Что же ты, Ванюша, стал? —
Царь опять ему вскричал. —
Исполняй-ка, брат, что должно!»
Говорит Иван: «Не можно ль,
Ваша милость, приказать
Горбунка ко мне послать?
Я впоследни б с ним простился».
Царь, подумав, согласился
И изволил приказать
Горбунка к нему послать,
Тут слуга конька приводит
И к сторонке сам отходит.

Вот конек хвостом махнул,

В те котлы мордой макнул,
На Ивана дважды прыснул,
Громким посвистом присвистнул.
На конька Иван взглянул
И в котел тотчас нырнул,
Тут в другой, там в третий тоже,
И такой он стал пригожий,
Что ни в сказке не сказать,
Ни пером не написать!
Вот он в платье нарядился,
Царь-девице поклонился,
Осмотрелся, подбодрясь,
С важным видом, будто князь.

«Эко диво! – все кричали. —
Мы и слыхом не слыхали,
Чтобы льзя{*Льзя* – можно.} похорошеть!»
Царь велел себя раздеть,
Два раза перекрестился,
Бух в котел – и там сварился!

Царь-девица тут встает,
Знак к молчанью подает,
Покрывало поднимает
И к прислужникам вещает:
«Царь велел вам долго жить!
Я хочу царицей быть.
Люба ль я вам? Отвечайте!
Если люба, то признайте
Володетелем всего —
И супруга моего!»
Тут царица замолчала,
На Ивана показала.

«Люба, люба! – все кричат —
За тебя хоть в самый ад!
Твоего ради талана{*Талáн* – здесь: счастье, удача.}
Признаем царя Ивана!»

Царь царицу тут берет,
В церковь Божию ведет,
И с невестой молодою
Он обходит вкруг налою.
Пушки с крепости палят;

В трубы кованы трубят;
Все подвалы отворяют,
Бочки с фряжским{*Фря́жское* – заморское вино.} выставляют,
И, напившися, народ
Что есть мочушки дерет:
«Здравствуй, царь наш со царицей!
С распрекрасной Царь-девицей!»
Во дворце же пир горой:
Вина льются там рекой;
За дубовыми столами
Пьют бояре со князьями,
Сердцу любо! Я там был,
Мед, вино и пиво пил;
По усам хоть и бежало,
В рот ни капли не попало.

Василий Андреевич Жуковский (1773 – 1852)

Кот в сапогах

Жил мельник. Жил он, жил и умер,
Оставивши своим трем сыновьям
В наследство мельницу, осла, кота
И… только. Мельницу взял старший сын,
Осла взял средний, а меньшому дали
Кота. И был он крепко недоволен
Своим участком. «Братья, – рассуждал он,
Сложившись, будут без нужды, а я,
Изжаривши кота, и съев, и сделав
Из шкурки муфту, чем потом начну
Хлеб добывать насущный?» Так он вслух,
С самим собою рассуждая, думал.
А Кот, тогда лежавший на печурке,
Разумное подслушав рассужденье,
Сказал ему: «Хозяин, не печалься;
Дай мне мешок да сапоги, чтоб мог я
Ходить за дичью по болоту. Сам
Тогда увидишь, что не так-то беден
Участок твой». Хотя и не совсем
Был убежден Котом своим хозяин,
Но уж не раз случалось замечать
Ему, как этот Кот искусно вел
Войну против мышей и крыс, какие
Выдумывал он хитрости и как
То, мертвым притворись, висел на лапах
Вниз головой, то пудрился мукой,
То прятался в трубу, то под кадушкой
Лежал, свернувшись в ком, а потому
И слов Кота не пропустил он мимо
Ушей. И подлинно, когда он дал
Коту мешок и нарядил его
В большие сапоги, на шею Кот
Мешок надел и вышел на охоту
В такое место, где, он ведал, много
Водилось кроликов. В мешок насыпав
Трухи, его на землю положил он,
А сам вблизи как мертвый растянулся

И терпеливо ждал, чтобы какой невинный,
Неопытный в науке жизни кролик
Пожаловал к мешку покушать сладкой
Трухи. И он не долго ждал: как раз
Перед мешком его явился глупый,
Вертлявый, долгоухий кролик; он
Мешок понюхал, поморгал ноздрями,
Потом и влез в мешок, а Кот проворно
Мешок стянул шнурком и без дальнейших
Приветствий гостя угостил по-свойски.
Победою довольный, во дворец
Пошел он к королю и приказал,
Чтобы о нем немедля доложили.
Велел ввести Кота в свой кабинет
Король. Вошед, он поклонился в пояс,
Потом сказал, потупив морду в землю:
«Я кролика, великий государь,
От моего принес вам господина,
Маркиза Карабаса (так он вздумал
Назвать хозяина). Имеет честь
Он вашему величеству свое
Глубокое почтенье изъявить
И просит вас принять его гостинец». —
– «Скажи маркизу, – отвечал король, —
Что я его благодарю и что
Я очень им доволен». Королю
Откланявшися, Кот пошел домой;
Когда ж он шел через дворец, то все
Вставали перед ним и жали лапу
Ему с улыбкой, потому что он
Был в кабинете принят королем
И с ним наедине (и уж, конечно,
О государственных делах) так долго
Беседовал, а Кот был так учтив,
Так обходителен, что все дивились
И думали, что жизнь свою провел
Он в лучшем обществе. Спустя немного
Отправился опять на ловлю Кот:
В густую рожь засел с своим мешком
И там поймал двух жирных перепелок.
И их немедленно он к королю,
Как прежде кролика, отнес в гостинец
От своего маркиза Карабаса.
Охотник был король до перепелок;

Опять позвать велел он в кабинет
Кота и, перепелок сам принявши,
Благодарить маркиза Карабаса
Велел особенно. И так наш Кот
Недели три-четыре к королю
От имени маркиза Карабаса
Носил и кроликов и перепелок.
Вот он однажды сведал, что король
Сбирается прогуливаться в поле
С своею дочерью (а дочь была
Красавицей, какой другой на свете
Никто не видывал) и что они
Поедут берегом реки. И он,
К хозяину поспешно прибежав,
Ему сказал: «Когда теперь меня
Послушаешься ты, то будешь разом
И счастлив и богат; вся хитрость в том,
Чтоб ты сейчас пошел купаться в реку;
Что будет после, знаю я, а ты
Сиди себе в воде, да полоскайся,
Да ни о чем не хлопочи». Такой
Совет принять маркизу Карабасу
Нетрудно было – день был жаркий; он
С охотою отправился к реке,
Влез в воду и сидел в воде по горло.
А в это время был король уж близко.
Вдруг начал Кот кричать: «Разбой! Разбой!
Сюда, народ!» – «Что сделалось?» – подъехав,
Спросил король. «Маркиза Карабаса
Ограбили и бросили в реку;
Он тонет». Тут, по слову короля,
С ним бывшие придворные чины
Все кинулись ловить в воде маркиза.
А королю Кот на́ ухо шепнул:
«Я должен вашему величеству донесть,
Что бедный мой маркиз совсем раздет:
Разбойники все платье унесли».
(А платье сам, мошенник, спрятал в куст.)
Король велел, чтобы один из бывших
С ним государственных министров снял
С себя мундир и дал его маркизу.
Министр тотчас разделся за кустом,
Маркиза же в его мундир одели,
И Кот его представил королю,

И королем он ласково был принят.
А так как он красавец был собою,
То и совсем немудрено, что скоро
И дочери прекрасной королевской
Понравился; богатый же мундир
(Хотя на нем и не совсем в обтяжку
Сидел он, потому что брюхо было
У королевского министра) вид
Ему отличный придавал – короче,
Маркиз понравился; и сесть с собой
В коляску пригласил его король,
А сметливый наш Кот во все лопатки
Вперед бежать пустился. Вот увидел
Он на лугу широком косарей,
Сбиравших сено. Кот им закричал:
«Король проедет здесь, и если вы
Ему не скажете, что этот луг
Принадлежит маркизу Карабасу,
То он всех вас прикажет изрубить
На мелкие куски». Король, проехав,
Спросил: «Кому такой прекрасный луг
Принадлежит?» – «Маркизу Карабасу», —
Все закричали разом косари
(В такой их страх привел проворный Кот).
«Богатые луга у вас, маркиз», —
Король заметил. А маркиз, смиренный
Приняв вид, ответствовал: «Луга
Изрядные». Тем временем поспешно
Вперед ушедший Кот увидел в поле
Жнецов – они в снопы вязали рожь.
«Жнецы, – сказал он, – едет близко наш
Король. Он спросит вас: чья рожь? И если
Не скажете ему вы, что она
Принадлежит маркизу Карабасу,
То он вас всех прикажет изрубить
На мелкие куски». Король проехал.
«Кому принадлежит здесь поле?» – он
Спросил жнецов. «Маркизу Карабасу», —
Жнецы ему с поклоном отвечали.
Король опять сказал: «Маркиз, у вас
Богатые поля». Маркиз на то
По-прежнему ответствовал смиренно:
«Изрядные». А Кот бежал вперед
И встречных всех учил, как королю

Им отвечать. Король был поражен
Богатствами маркиза Карабаса.
Вот наконец в великолепный за́мок
Кот прибежал. В том за́мке людоед-
Волшебник жил, и Кот о нем уж знал
Всю подноготную; в минуту он
Смекнул, что делать. В за́мок смело
Вошед, он попросил у людоеда
Аудиенции{*Аудие́нция* – прием посетителей у высокопоставленного лица.}, и людоед,
Приняв его, спросил: «Какую ну́жду
Вы, Кот, во мне имеете?» На это
Кот отвечал: «Почтенный людоед,
Давно слух носится, что будто вы
Умеете во всякий превращаться,
Какой задумаете, вид; хотел бы
Узнать я, подлинно ль такая мудрость
Дана вам?» – «Это правда, сами, Кот,
Увидите». И мигом он явился
Ужасным львом с густой, косматой гривой
И острыми зубами. Кот при этом
Так струсил, что (хоть был и в сапогах)
В один прыжок под кровлей очутился.
А людоед, захохотавши, принял
Свой прежний вид и попросил Кота
К нему сойти. Спустившись с кровли, Кот
Сказал: «Хотелось бы, однако, знать мне,
Вы можете ль и в маленького зверя,
Вот, например, в мышонка, превратиться?»
«Могу, – сказал с усмешкой людоед. —
Что ж тут мудреного?» И он явился
Вдруг маленьким мышонком. Кот того
И ждал; он разом – цап! – и съел мышонка.
Король тем временем подъехал к замку,
Остановился и хотел узнать,
Чей был он. Кот же, рассчитавшись
С его владельцем, ждал уж у ворот,
И в пояс кланялся, и говорил:
«Не будет ли угодно, государь,
Пожаловать на перепутье в за́мок
К маркизу Карабасу?» «Как, маркиз, —
Спросил король, – и этот за́мок вам же
Принадлежит? Признаться, удивляюсь;
И будет мне приятно побывать в нем».

И приказал король своей коляске
К крыльцу подъехать, вышел из коляски;
Принцессе ж руку предложил маркиз;
И все пошли по лестнице высокой
В покои. Там в пространной галерее
Был стол накрыт и полдник приготовлен
(На этот полдник людоед позвал
Приятелей, но те, узнав, что в за́мке
Король был, не вошли и все домой
Отправились). И, сев за стол роскошный,
Король велел маркизу сесть меж ним
И дочерью, и стали пировать.
Когда же в голове у короля
Вино позашумело, он маркизу
Сказал: «Хотите ли, маркиз, чтоб дочь
Мою за вас я выдал?» Честь такую
С неимоверной радостию принял
Маркиз. И свадьбу вмиг сыграли. Кот
Остался при дворе, и был в чины
Произведен, и в бархатных являлся
В дни табельные{*Та́бельные* – праздничные.} сапогах. Он бросил
Ловить мышей, а если и ловил,
То это для того, чтобы немного
Себя развлечь и сплин{*Сплин* – тоска, уныние.}, который нажил
Под старость при дворе, воспоминаньем
О светлых днях минувшего рассеять.

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 – 1841)

Утес

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;

Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.

Николай Алексеевич Некрасов (1821 – 1877)

Дедушка Мазай и зайцы

1

В августе, около «Малых Вежей»,
С старым Мазаем я бил дупелей.

Как-то особенно тихо вдруг стало,
На́ небе солнце сквозь тучу играло.

Тучка была небольшая на нем,
А разразилась жестоким дождем!

Прямы и светлы, как прутья стальные,
В землю вонзились струй дождевые

С силой стремительной… Я и Мазай,
Мокрые, скрылись в какой-то сарай.

Дети, я вам расскажу про Мазая.
Каждое лето домой приезжая,

Я по неделе гощу у него.
Нравится мне деревенька его:

Летом ее убирая красиво,
Исстари хмель в ней родится на диво,

Вся она тонет в зеленых садах;
Домики в ней на высоких столбах

(Всю эту местность вода поднимает,
Так что деревня весною всплывает,

Словно Венеция{*Вене́ция* – город в Италии, построенный в морском заливе, с каналами вместо улиц.}). Старый Мазай
Любит до страсти свой низменный край.

Вдов он, бездетен, имеет лишь внука,
Торной дорогой ходить ему – скука!

За сорок верст в Кострому прямиком
Сбегать лесами ему – нипочем.

«Лес не дорога: по птице, по зверю
Выпалить можно». – А леший? – «Не верю!

Раз в кураже{*Кура́ж* – веселое, бодрое настроение.} я их звал-поджидал
Целую ночь, – никого не видал!

За день грибов насбираешь корзину,
Ешь мимоходом бруснику, малину;

Вечером пеночка нежно поет,
Словно как в бочку пустую удод

Ухает; сыч разлетается к ночи,
Рожки точены, рисованы очи.

Ночью… ну, ночью робел я и сам:
Очень уж тихо в лесу по ночам.

Тихо, как в церкви, когда отслужили
Службу и накрепко дверь затворили,

Разве какая сосна заскрипит,
Словно старуха во сне проворчит…»

Дня не проводит Мазай без охоты.
Жил бы он славно, не знал бы заботы,

Кабы не стали глаза изменять:
Начал частенько Мазай пуделять{*Пуделять* – делать промахи в стрельбе.}.

Впрочем, в отчаянье он не приходит:
Выпалит дедушка – заяц уходит,

Дедушка пальцем косому грозит:
«Врешь – упадешь!» – добродушно кричит.

Знает он много рассказов забавных
Про деревенских охотников славных:

Кузя сломал у ружьишка курок,
Спичек таскает с собой коробок,

Сядет за ку́стом – тетерю подманит,
Спичку к затравке приложит – и грянет!

Ходит с ружьишком другой зверолов,
Носит с собою горшок угольков.

«Что ты таскаешь горшок с угольками?»
– Больно, родимый, я зябок руками;

Ежели зайца теперь сослежу,
Прежде я сяду, ружье положу,

Над уголечками руки погрею,
Да уж потом и палю по злодею!

«Вот так охотник!» – Мазай прибавлял.
Я, признаюсь, от души хохотал.

Впрочем, милей анекдотов крестьянских
(Чем они хуже, однако, дворянских?)

Я от Мазая рассказы слыхал.
Дети, для вас я один записал…

2

Старый Мазай разболтался в сарае:
«В нашем болотистом, низменном крае
Впятеро больше бы дичи велось,
Кабы сетями ее не ловили,
Кабы силками ее не давили;
Зайцы вот тоже, – их жалко до слез!
Только весенние воды нахлынут,
И без того они сотнями гинут, —
Нет! еще мало! бегут мужики,
Ловят, и топят, и бьют их баграми.
Где у них совесть?.. Я раз за дровами

В лодке поехал – их много с реки
К нам в половодье весной нагоняет, —
Еду, ловлю их. Вода прибывает.
Вижу один островок небольшой —
Зайцы на нем собрались гурьбой.
С каждой минутой вода подбиралась
К бедным зверькам; уж под ними осталось
Меньше аршина земли в ширину,
Меньше сажени{*Арши́н* – старинная мера длины, равная 71 сантиметру; *са́же́нь* равен трем аршинам, то есть 2 метра и 13 сантиметров.} в длину.
Тут я подъехал: лопочут ушами,
Сами ни с места; я взял одного,
Прочим скомандовал: прыгайте сами!
Прыгнули зайцы мои, – ничего!
Только уселась команда косая,
Весь островочек пропал под водой.
«То-то! – сказал я, – не спорьте со мной!
Слушайте, зайчики, деда Мазая!»
Этак гуторя, плывем в тишине.
Столбик не столбик, зайчишка на пне,
Лапки скрестивши, стоит, горемыка,

Взял и его – тягота невелика!
Только что начал работать веслом,
Глядь, у куста копошится зайчиха —
Еле жива, а толста, как купчиха!
Я ее, дуру, накрыл зипуном —
Сильно дрожала… Не рано уж было.
Мимо бревно суковатое плыло.
Сидя, и стоя, и лежа пластом,
Зайцев с десяток спасалось на нем.
«Взял бы я вас – да потопите лодку!»
Жаль их, однако, да жаль и находку —
Я зацепился багром за сучок
И за собою бревно поволок…

Было потехи у баб, ребятишек,
Как прокатил я деревней зайчишек:
«Глянь-ко: что делает старый Мазай!»
Ладно! Любуйся, а нам не мешай!
Мы за деревней в реке очутились.
Тут мои зайчики точно сбесились.
Смотрят, на задние лапы встают,

Лодку качают, грести не дают:
Берег завидели плуты косые,
Озимь, и рощу, и кусты густые!..
К берегу плотно бревно я пригнал,
Лодку причалил – и «С Богом!» сказал.

И во весь дух
Пошли зайчишки.
А я им: «У-х!
Живей, зверишки!
Смотри, косой,
Теперь спасайся,
А чур зимой
Не попадайся!
Прицелюсь – бух!
И ляжешь… Ууу-х!..»

Мигом команда моя разбежалась,
Только на лодке две пары осталось —
Сильно измокли, ослабли; в мешок
Я их поклал – и домой приволок.
За ночь больные мои отогрелись,
Высохли, выспались, плотно наелись;
Вынес я их на лужок; из мешка
Вытряхнул, ухнул – и дали стречка!
Я проводил их все тем же советом:
«Не попадайтесь зимой!»
Я их не бью ни весною, ни летом,
Шкура плохая – линяет косой…»

Владимир Федорович Одоевский (1803 – 1869)

Городок в табакерке

Папенька поставил на стол табакерку.

– Поди-ка сюда, Миша, посмотри-ка, – сказал он.

Миша был послушный мальчик: тотчас оставил игрушки и подошел к папеньке. Да уж и было чего посмотреть! Какая прекрасная табакерка! Пестренькая, из черепахи. А что на крышке-то! Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвертый, – и счесть нельзя, и все мал мала меньше, и все золотые, а деревья-то также золотые, и листики на них серебряные; а за деревьями встает солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу.

– Что это за городок? – спросил Миша.

– Это городок Динь-Динь, – отвечал папенька и тронул пружинку…

И что же? Вдруг, невидимо где, заиграла музыка, Миша не мог понять: он ходил и к дверям – не из другой ли комнаты? и к часам – не в часах ли? и к бюро, и к горке; прислушивался то в том, то в другом месте; смотрел и под стол… Наконец Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошел к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, крадется тихонько по небу, а небо и городок все светлее и светлее; окошки горят ярким огнем, и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, все ниже да ниже, и наконец за пригорком совсем скрылось; и городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли, только ненадолго. Вот затеплилась звездочка, вот другая, вот месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало опять светлее, окошки засеребрились, и от башенок потянулись синеватые лучи.

– Папенька! Папенька! Нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!

– Мудрено, мой друг: этот городок тебе не по росту.

– Ничего, папенька, я такой маленький; только пустите меня туда; мне так бы хотелось узнать, что там делается…

– Право, мой друг, там и без тебя тесно.

– Да кто же там живет?

– Кто там живет? Там живут колокольчики.

С этими словами папенька поднял крышку на табакерке, и что же увидел Миша? И колокольчики, и молоточки, и валик, и

колеса… Миша удивился.

– Зачем эти колокольчики? Зачем молоточки? Зачем валик с крючками? – спрашивал Миша у папеньки.

А папенька отвечал:

– Не скажу тебе, Миша; сам посмотри попристальнее да подумай: авось-либо отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а иначе все изломается.

Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел-сидел над нею, смотрел-смотрел, думал-думал, отчего звенят колокольчики?

Между тем музыка играет да играет; вот все тише и тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит: внизу табакерки открывается дверца, и из дверцы выбегает мальчик с золотою головкою и в стальной юбочке, останавливается на пороге и манит к себе Мишу.

«Да отчего же, – подумал Миша, – папенька сказал, что в этом городке и без меня тесно? Нет, видно, в нем живут добрые люди, видите, зовут меня в гости».

– Извольте, с величайшей радостью!

С сими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, он почел долгом прежде всего обратиться к своему провожатому.

– Позвольте узнать, – сказал Миша, – с кем я имею честь говорить?

– Динь-динь-динь, – отвечал незнакомец, – я мальчик-колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решились просить вас сделать нам честь к нам пожаловать. Динь-динь-динь, динь-динь-динь.

Миша учтиво поклонился; мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пестрой тисненой бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше; потом третий, еще меньше; четвертый, еще меньше, и так все другие своды – чем дальше, тем меньше, так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого.

– Я вам очень благодарен за ваше приглашение, – сказал Миша, – но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, но там дальше, посмотрите, какие у вас низенькие своды, – там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите.

– Динь-динь-динь! – отвечал мальчик. – Пройдем, не беспокойтесь, ступайте только за мной.

Миша послушался. В самом деле, с каждым шагом, казалось, своды подымались, и наши мальчики всюду свободно проходили; когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся, и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он подошел, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто, пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлен.

– Отчего это? – спросил он своего проводника.

– Динь-динь-динь! – отвечал проводник смеясь, – издали всегда так кажется. Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели; вдали все кажется маленьким, а подойдешь – большое.

– Да, это правда, – отвечал Миша, – я до сих пор не подумал об этом, и оттого вот что со мною случилось: третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепьяно, а папенька на другом конце комнаты читает книжку. Только этого мне никак не удавалось сделать: тружусь, тружусь, рисую как можно вернее, а все на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит и кресло его возле фортепьяно стоит, а между тем я очень хорошо вижу, что фортепьяно стоит возле меня, у окошка, а папенька сидит на другом конце, у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надобно рисовать маленьким, но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше ее ростом; но теперь вижу, что она правду говорила: папеньку надобно было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке. Очень вам благодарен за объяснение, очень благодарен.

Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил: «Динь-динь-динь, как смешно! Не уметь нарисовать папеньку с маменькой! Динь-динь-динь, динь-динь-динь!»

Мише показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним так немилосердно насмехается, и он очень вежливо сказал ему:

– Позвольте мне спросить у вас: зачем вы к каждому слову все говорите «динь-динь-динь»?

– Уж у нас поговорка такая, – отвечал мальчик-колокольчик.

– Поговорка? – заметил Миша. – А вот папенька говорит, что очень нехорошо привыкать к поговоркам.

Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал более ни слова.

Вот перед ними еще дверцы; они отворились, и Миша очутился на улице. Что за улица! Что за городок! Мостовая вымощена перламутром; небо пестренькое, черепаховое; по небу ходит золотое солнышко; поманишь его, оно с неба сойдет, вкруг руки обойдет и опять поднимается. А домики-то стальные,

полированные, крытые разноцветными раковинками, и под каждою крышкою сидит мальчик-колокольчик с золотою головкою, в серебряной юбочке, и много их, много, и все мал мала меньше.

– Нет, теперь уж меня не обманут, – сказал Миша. – Это так только мне кажется издали, а колокольчики-то все одинакие.

– Ан вот и неправда, – отвечал провожатый, – колокольчики не одинакие. Если бы все были одинакие, то и звенели бы мы все в один голос, один как другой; а ты слышишь, какие мы песни выводим. Это оттого, что кто из нас побольше, у того и голос потолще. Неужели ты и этого не знаешь? Вот видишь ли, Миша, это тебе урок: вперед не смейся над теми, у которых поговорка дурная; иной и с поговоркою, а больше другого знает, и можно от него кое-чему научиться.

Миша, в свою очередь, закусил язычок. Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье, звенели, прыгали, бегали.

– Весело вы живете, – сказал им Миша, – век бы с вами остался. Целый день вы ничего не делаете, у вас ни уроков, ни учителей, да еще и музыка целый день.

– Динь-динь-динь! – закричали колокольчики. – Уж нашел у нас веселье! Нет, Миша, плохое нам житье. Правда, уроков у нас нет, да что же в том толку? Мы бы уроков не побоялися. Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела; нет у нас ни книжек, ни картинок; нет ни папеньки, ни маменьки; нечем заняться; целый день играй да играй, а ведь это, Миша, очень, очень скучно. Поверишь ли? Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко и золотые деревья; но мы, бедные, мы насмотрелись на них вдоволь, и все это нам очень надоело; из городка мы – ни пяди{*Пядь* – старинная мера длины, равная расстоянию между концами растянутых большого и указательного пальцев.}, а ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке, и даже в табакерке с музыкою.

– Да, – отвечал Миша, – вы говорите правду. Это и со мной случается: когда после ученья примешься за игрушки, то так весело; а когда в праздник целый день все играешь да играешь, то к вечеру и сделается скучно; и за ту и за другую игрушку примешься – все не мило. Я долго не понимал, отчего это, а теперь понимаю.

– Да, сверх того, на нас есть другая беда, Миша: у нас есть дядьки.

– Какие же дядьки? – спросил Миша.

– Дядьки-молоточки, – отвечали колокольчики, – уж какие

злые! То и дело что ходят по городу да нас постукивают. Которые побольше, тем еще реже «тук-тук» бывает, а уж маленьким куда больно достается.

В самом деле, Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках, с предлинными носами и шептали между собою: «тук-тук-тук! тук-тук-тук! поднимай! задевай! тук-тук-тук!» И в самом деле, дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику тук да тук, инда{*и́нда* – так что, даже.} бедному Мише жал ко стало. Он подошел к этим господам, очень вежливо поклонился и с добродушием спросил, зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков. А молоточки ему в ответ:

– Прочь ступай, не мешай! Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Все ворочается, прицепляется. Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!

– Какой это у вас надзиратель? – спросил Миша у колокольчиков.

– А это господин Валик, – зазвенели они, – предобрый человек, день и ночь с дивана не сходит; на него мы не можем пожаловаться.

Миша – к надзирателю. Смотрит: он в самом деле лежит на диване, в халате и с боку на бок переворачивается, только все лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки, видимо-невидимо; только что попадется ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику.

Только что Миша к нему подошел, как надзиратель закричал:

– Шуры-муры! кто здесь ходит? кто здесь бродит? Шуры-муры! кто прочь не идет? кто мне спать не дает? Шуры-муры! шуры-муры!

– Это я, – храбро отвечал Миша, – я – Миша…

– А что тебе надобно? – спросил надзиратель.

– Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков, они все такие умные, такие добрые, такие музыканты, а по вашему приказанию дядьки их беспрестанно постукивают…

– А мне какое дело, шуры-муры! Не я здесь набольший{*На́больший* – самый старший, главный.}. Пусть себе дядьки стукают мальчиков! Мне что за дело! Я надзиратель добрый, все на диване лежу и ни за кем не гляжу. Шуры-муры, шуры-муры…

«Ну, многому же я научился в этом городке! – сказал про себя Миша. – Вот еще иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает. «Экой злой!» – думаю я. – Ведь он не папенька и не маменька; что ему за дело, что я шалю? Знал бы

сидел в своей комнате. Нет, теперь вижу, что бывает с бедными мальчиками, когда за ними никто не смотрит».

Между тем Миша пошел далее – и остановился. Смотрит, золотой шатер с жемчужного бахромою; наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница, а под шатром лежит царевна Пружинка и, как змейка, то свернется, то развернется и беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей:

– Сударыня-царевна! Зачем вы надзирателя под бок толкаете?

– Зиц-зиц-зиц, – отвечала царевна. – Глупый ты мальчик, неразумный мальчик. На все смотришь, ничего не видишь! Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся; кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся, молоточки бы не стучали, колокольчики бы не звенели; кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было! Зиц-зиц-зиц.

Мише захотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал ее пальчиком – и что же?

В одно мгновение пружинка с силою развилась, валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень, и вдруг пружинка лопнула. Все умолкло, валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались… Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинки, испугался и… проснулся.

– Что во сне видел, Миша? – спросил папенька.

Миша долго не мог опамятоваться. Смотрит: та же папенькина комната, та же перед ним табакерка; возле него сидят папенька и маменька и смеются.

– Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна Пружинка? – спрашивал Миша. – Так это был сон?

– Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи же нам, по крайней мере, что тебе приснилось!

– Да видите, папенька, – сказал Миша, протирая глазки, – мне все хотелось узнать, отчего музыка в табакерке играет; вот я принялся на нее прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и отчего движется; думал, думал и стал уже добираться, как вдруг, смотрю, дверка в табакерку растворилась… – Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку.

– Ну, теперь вижу, – сказал папенька, – что ты в самом деле почти понял, отчего музыка в табакерке играет; но ты это еще лучше поймешь, когда будешь учиться механике.

Игоша

Я сидел с нянюшкой в детской; на полу разостлан был ковер, на ковре игрушки, а между игрушками я; вдруг дверь отворилась, а никто не взошел. Я посмотрел, подождал, – все нет никого.

– Нянюшка! Нянюшка! Кто дверь отворил?

– Безрукий, безногий дверь отворил, дитятко!

Вот безрукий, безногий и запал мне на мысль.

– Что за безрукий, безногий такой, нянюшка?

– Ну да так, известно что, – отвечала нянюшка, – безрукий, безногий.

Мало мне было нянюшкиных слов, и я, бывало, как дверь ли, окно ли отворится, тотчас забегу посмотреть: не тут ли безрукий – и как он ни увертлив, верно бы мне попался, если бы в то время батюшка не возвратился из города и не привез с собою новых игрушек, которые заставили меня на время позабыть о безруком.

Радость! Веселье! Прыгаю! Любуюсь игрушками! А нянюшка ставит да ставит рядком их на столе, покрытом салфеткою, приговаривая: «не ломай, не разбей, помаленьку играй, дитятко». Между тем зазвонили к обеду.

Я прибежал в столовую, когда батюшка рассказывал, отчего он так долго не возвращался. «Все постромки лопались, – говорил он, – а не постромки, так кучер то и дело, что кнут свой теряет; а не то пристяжная ногу зашибет, беда да и только! Хоть стань на дороге; уж в самом деле я подумал: не от Игоши ли?» – «От какого Игоши?» – спросила маменька. «Да вот послушай, на завражке я остановил лошадей покормить; прозяб я и вошел в избу погреться; в избе за столом сидят трое извощиков, а на столе лежат четыре ложки; вот они хлеб ли режут, лишний ломоть к ложке положат; пирога ли попросят, лишний кусок отрушат{*Отру́шить* – отломить, отрезать, отделить.}.

– Кому это вы, верно, товарищу оставляете, добрые молодцы? – спросил я.

– Товарищу не товарищу, – отвечали они, – а такому молодцу, который обид не любит.

– Да кто ж он такой? – спросил я. – Да Игоша, барин.

Что за Игоша, вот я их и ну допрашивать.

– А вот послушайте, барин, – отвечал мне один из них, – летось{*Ле́тось* – в прошлое время, в прошлом.} у земляка-то родился сынок, такой хворенькой, Бог с ним, без ручек, без ножек – в чем душа; не успели за попом сходить, как он и дух испустил; до обеда не дожил. Вот, делать нечего, поплакали, погоревали, да и предали младенца земле. Только с той поры все у них стало не по-прежнему… Впрочем, Игоша, барин, малый добрый: наших лошадей бережет, гривы им заплетает, к попу под благословенье подходит; но если же ему лишней ложки за столом не положишь

или поп лишнего благословенья при отпуске в церкви не даст, то Игоша и пойдет кутить: то у попадьи квашню опрокинет или из горшка горох выбросит; а у нас или у лошадей подкову сломает, или у колокольчика язык вырвет, – мало ли что бывает.

– И! Да я вижу, Игоша-то проказник у вас, – сказал я, – отдайте-ка его мне, и если он хорошо мне послужит, то у меня ему славное житье будет; я ему, пожалуй, и харчевые назначу.

Между тем лошади отдохнули, я отогрелся, сел в сани, покатился: не отъехали версты – шлея соскочила, потом постромки оборвались, а на конец оглобля пополам, – целых два часа понапрасну потеряли. В самом деле подумаешь, что Игоша ко мне привязался».

Так говорил батюшка; я не пропустил ни одного слова. В раздумье пошел я в свою комнату, сел на полу, но игрушки меня не занимали, – у меня в голове все вертелся Игоша да Игоша. Вот я смотрю – няня на ту минуту вышла, – вдруг дверь отворилась; я, по своему обыкновению, хотел было вскочить, но невольно присел, когда увидел, что ко мне в комнату вошел припрыгивая маленький человечек в крестьянской рубашке, подстриженный в кружок; глаза у него горели как угольки, и голова на шейке у него беспрестанно вертелась; с самого первого взгляда я заметил в нем что-то странное, посмотрел на него пристальнее и увидел, что у бедняжки не было ни рук, ни ног, а прыгал он всем туловищем. Как мне его жалко стало. Смотрю, маленький человечек прямо к столу, где у меня стояли рядышком игрушки, вцепился зубами в салфетку и потянул ее, как собачонка; посыпались мои игрушки: фарфоровая моська вдребезги, барабан у барабанщика выскочил, у колясочки слетели колеса, – я взвыл и закричал благим матом.

– Что за негодный мальчишка! Зачем ты сронил мои игрушки, эдакой злыдень! Да что еще мне от нянюшки достанется! Говори, зачем ты сронил игрушки?

– А вот зачем, – отвечал он тоненьким голоском, – затем, – прибавил он густым басом, – что твой батюшка всему дому валежки сшил, а мне, маленькому, – заговорил он снова тоненьким голоском, – ни одного не сшил, а теперь мне, маленькому, холодно, на дворе мороз, гололедица, пальцы костенеют.

– Ах, жалкинький! – сказал я сначала, но потом, одумавшись: – Да какие пальцы, негодный: да у тебя и рук-то нет; на что тебе валежки?

– А вот на что, – сказал он басом, – что ты вот видишь, твои игрушки вдребезги, так ты и скажи батюшке: «Батюшка, батюшка, Игоша игрушки ломает, валежек просит, купи ему валежки», а ты возьми и брось их ко мне в окошко.

Игоша не успел окончить, как нянюшка вошла ко мне в комнату; Игоша не прост молодец, разом лыжи навострил; а нянюшка на меня:

– Ах ты проказник, сударь! Зачем изволил игрушки сронить? Нельзя тебя одного ни на минуту оставить. Вот ужо тебя маменька…

– Нянюшка! Не я уронил игрушки, право не я, это Игоша…

– Какой Игоша, сударь?.. Еще изволишь выдумывать?

– Безрукий, безногий, нянюшка.

На крик прибежал батюшка, я ему рассказал все как было, он расхохотался.

– Изволь, дам тебе валежки, отдай их Игоше.

Так я и сделал.

Едва я остался один, как Игоша явился ко мне, только уже не в рубашке, а в полушубке.

– Добрый ты мальчик, – сказал он мне тоненьким голосом, – спасибо за валежки; посмотри-ка, я из них себе какой полушубок сшил, вишь, какой славный!

И Игоша стал повертываться со стороны на сторону и опять к столу, на котором нянюшка поставила свой заветный чайник, очки, чашку без ручки и два кусочка сахара, – и опять за салфетку и опять ну тянуть.

– Игоша! Игоша! – закричал я. – Погоди, не роняй, – хорошо мне один раз прошло, а другой не поверят; скажи лучше, что тебе надобно?

– А вот что, – сказал он густым басом, – я твоему батюшке верой и правдой служу, не хуже других слуг, ничего не делаю, а им всем батюшка к празднику сапоги пошил, а мне, маленькому, – прибавил он тоненьким голоском, – и сапожишков нет, на дворе днем мокро, ночью морозно, ноги ознобишь… – и с сими словами Игоша потянул на себя салфетку, и полетели на пол и заветный нянюшкин чайник, и очки выскочили из очешника, и чашка без ручки расшиблась, и кусочек сахарца укатился…

Вошла нянюшка, опять меня журит; я на Игошу, он на меня.

– Батюшка, безногий сапогов просит, – закричал я, когда вошел батюшка.

– Нет, шалун, – сказал батюшка, – раз тебе прошло, в другой раз не пройдет; эдак ты у меня всю посуду перебьешь; полно про Игошу-то толковать, становись-ка в угол.

«Не бось, не бось, – шептал мне кто-то на ухо, – я уже тебя не выдам».

В слезах я побрел к углу. Смотрю: там стоит Игоша; только батюшка отвернется, а он меня головой толк да толк в спину, и я

очутюсь на ковре с игрушками посредине комнаты; батюшка увидит, я опять в угол; отворотится, а Игоша снова меня толкнет.

Батюшка рассердился.

– Так ты еще не слушаешься? – сказал он. – Сейчас в угол и ни с места.

– Батюшка, это не я… Это Игоша толкается.

– Что ты вздор мелешь, негодяй; стой тихо; а не то на целый день привяжу тебя к стулу.

Рад бы я был стоять, но Игоша не давал мне покоя; то ущипнет меня, то оттолкнет, то сделает мне смешную рожу – я захохочу; Игоша для батюшки был невидим – и батюшка пуще рассердился.

– Постой, – сказал он, – увидим, как тебя Игоша будет отталкивать. – И с сими словами привязал мне руки к стулу.

А Игоша не дремлет, он ко мне и ну зубами тянуть за узлы; только батюшка отворотится, он петлю и вытянет; не прошло двух минут – и я снова очутился на ковре между игрушек, на средине комнаты.

Плохо бы мне было, если б тогда не наступил уже вечер; за непослушание меня уложили в постель ранее обыкновенного, накрыли одеялом и велели спать, обещая, что завтра сверх того меня запрут одного в пустую комнату.

Ночью, едва нянюшка загнула в свинец свои пукли, надела коленкоровый чепчик, белую канифасную{*Канифа́сная* – сшитая из канифаса, льняной очень прочной ткани типа парусины.} кофту, пригладила виски свечным огарком, покурила ладаном и захрапела, я прыг с постели, схватил нянюшкины ботинки и махнул их за форточку, приговаривая вполголоса: «Вот тебе, Игоша».

– Спасибо! – отвечал мне со двора тоненький голосок.

Разумеется, что ботинок назавтра не нашли, – и нянюшка не могла надивиться, куда они девались.

Между тем батюшка не забыл обещания и посадил меня в пустую комнату, такую пустую, что в ней не было ни стола, ни стула, ни даже скамейки.

– Посмотрим, – сказал батюшка, – что здесь разобьет Игоша! Нет, брат, я вижу, что ты не по летам вырос на шалости… Пора за ученье. Теперь сиди здесь, а чрез час за азбуку, – и с этими словами батюшка запер двери.

Несколько минут я был в совершенной темноте и прислушивался к тому странному звуку, который слышится в ухе, когда совершенно тихо в пустой комнате. Мне приходил на мысль и Игоша. Что-то он делает с нянюшкиными ботинками? Верно, скачет по гладкому снегу и взрывает хлопья.

Как вдруг форточка хлопнула, разбилась, зазвенела, и Игоша, с ботинком на голове, запрыгал у меня по комнате.

– Спасибо! Спасибо! – закричал он пискляво. – Вот какую я себе славную шапку сшил!

– Ах! Игоша! Не стыдно тебе! Я тебе полушубок достал и ботинки тебе выбросил из окошка, а ты меня только в беды вводишь.

– Ах ты неблагодарный, – закричал Игоша густым басом, – я ли тебе не служу, – прибавил он тоненьким голоском, – я тебе и игрушки ломаю, и нянюшкины чайники бью, и в угол не пускаю, и веревки развязываю; а когда уже ничего не осталось, так рамы бью; да к тому ж служу тебе и батюшке из чести, обещанных харчевых не получаю, а ты еще на меня жалуешься. Правда у нас говорится, что люди самое неблагодарное творение! Прощай же, брат, если так, не поминай меня лихом. К твоему батюшке приехал из города немец, доктор, который надоумил твоего батюшку тебя за азбуку посадить, да все меня к себе напрашивается, попробую ему послужить; я уж и так ему стклянки перебил, а вот к вечеру после ужина и парик под бильярд закину, – посмотрим, не будет ли он тебя благодарнее…

С сими словами исчез мой Игоша, и мне жаль его стало.

С тех пор Игоша мне более не являлся. Мало-помалу ученье, служба, житейские происшествия отдалили от меня даже воспоминание о том полусонном состоянии моей младенческой души, где игра воображения так чудно сливалась с действительностью; этот психологический процесс сделался для меня недоступным; те условия, при которых он совершался, уничтожились рассудком; но иногда, в минуту пробуждения, когда душа возвращается из какого-то иного мира, в котором она жила и действовала по законам, нам здесь не известным, и еще не успела забыть о них, в эти минуты странное существо, являвшееся мне в младенчестве, возобновляется в моей памяти, и его явление кажется мне понятным и естественным.

Алексей Николаевич Плещеев (1825 – 1893)

Сельская песня

Травка зеленеет,
Солнышко блестит;
Ласточка с весною
В сени к нам летит.

С нею солнце краше
И весна милей…
Прощебечь с дороги
Нам привет скорей!

Дам тебе я зерен,
А ты песню спой,
Что из стран далеких
Принесла с собой…

Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837)

* * *

Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

Сказка о рыбаке и рыбке

Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод, —
Пришел невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод, —
Пришел невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод, —
Пришел невод с одною рыбкой,
С непростою рыбкой, – золотою.

Как взмолится золотая рыбка!
Голосом молвит человечьим:
«Отпусти ты, старче, меня в море,
Дорогой за себя дам откуп:
Откуплюсь чем только пожелаешь».
Удивился старик, испугался:
Он рыбачил тридцать лет и три года
И не слыхивал, чтоб рыба говорила.
Отпустил он рыбку золотую
И сказал ей ласковое слово:
«Бог с тобою, золотая рыбка!

Твоего мне откупа не надо;
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе».

Воротился старик ко старухе,
Рассказал ей великое чудо.
«Я сегодня поймал было рыбку,
Золотую рыбку, не простую;
По-нашему говорила рыбка,
Домой в море синее просилась.
Дорогою ценою откупалась:
Откупалась чем только пожелаю.
Не посмел я взять с нее выкуп;
Так пустил ее в синее море».
Старика старуха забранила:
«Дурачина ты, простофиля!
Не умел ты взять выкупа с рыбки!
Хоть бы взял ты с нее корыто,
Наше-то совсем раскололось».

Вот пошел он к синему морю;
Видит, – море слегка разыгралось.
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка,
Разбранила меня моя старуха,
Не дает старику мне покою:
Надобно ей новое корыто;
Наше-то совсем раскололось».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с Богом,
Будет вам новое корыто».
Воротился старик ко старухе,
У старухи новое корыто.
Еще пуще старуха бранится:
«Дурачина ты, простофиля!
Выпросил, дурачина, корыто!
В корыте много ль корысти?
Воротись, дурачина, ты к рыбке;
Поклонись ей, выпроси уж избу».

Вот пошел он к синему морю,

(Помутилося синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Еще пуще старуха бранится,
Не дает старику мне покою:
Избу просит сварливая баба».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с Богом,
Так и быть: изба вам уж будет».
Пошел он ко своей землянке,
А землянки нет уж и следа;
Перед ним изба со светелкой,
С кирпичною, беленою трубою,
С дубовыми, тесовыми вороты.
Старуха сидит под окошком,
На чем свет стоит мужа ругает:
«Дурачина ты, прямой простофиля!
Выпросил, простофиля, избу!
Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть черной крестьянкой,
Хочу быть столбовою дворянкой».
Пошел старик к синему морю;
(Не спокойно синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Пуще прежнего старуха вздурилась,
Не дает старику мне покою:
Уж не хочет быть она крестьянкой,
Хочет быть столбовою дворянкой».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с Богом».

Воротился старик ко старухе.
Что ж он видит? Высокий терем.
На крыльце стоит его старуха
В дорогой собольей душегрейке,
Парчовая на маковке кичка{*Ки́чка (ки́ка)* – старинный женский головной убор.},

Жемчуга огрузили шею,
На руках золотые перстни,
На ногах красные сапожки.
Перед нею усердные слуги;
Она бьет их, за чупрун таскает.
Говорит старик своей старухе:
«Здравствуй, барыня сударыня дворянка!
Чай, теперь твоя душенька довольна».
На него прикрикнула старуха,
На конюшню служить его послала.

Вот неделя, другая проходит,
Еще пуще старуха вздурилась:
Опять к рыбке старика посылает.
«Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть столбовою дворянкой,
А хочу быть вольною царицей».
Испугался старик, взмолился:
«Что ты, баба, белены объелась?
Ни ступить, ни молвить не умеешь!
Насмешишь ты целое царство».
Осердилася пуще старуха,
По щеке ударила мужа.
«Как ты смеешь, мужик, спорить со мною,
Со мною, дворянкой столбовою? —
Ступай к морю, говорят тебе честью,
Не пойдешь, поведут поневоле».

Старичок отправился к морю,
(Почернело синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Опять моя старуха бунтует:
Уж не хочет быть она дворянкой,
Хочет быть вольною царицей».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с Богом!
Добро! будет старуха царицей!»

Старичок к старухе воротился.
Что ж? пред ним царские палаты.

В палатах видит свою старуху,
За столом сидит она царицей,
Служат ей бояре да дворяне,
Наливают ей заморские вины;
Заедает она пряником печатным;
Вкруг ее стоит грозная стража,
На плечах топорики держат.
Как увидел старик, – испугался!
В ноги он старухе поклонился,
Молвил: «Здравствуй, грозная царица!
Ну, теперь твоя душенька довольна».
На него старуха не взглянула,
Лишь с очей прогнать его велела.
Подбежали бояре и дворяне,
Старика взашей затолкали.
А в дверях-то стража подбежала,
Топорами чуть не изрубила.
А народ-то над ним насмеялся:
«Поделом тебе, старый невежа!
Впредь тебе, невежа, наука:
Не садися не в свои сани!»

Вот неделя, другая проходит,
Еще пуще старуха вздурилась:
Царедворцев за мужем посылает.
Отыскали старика, привели к ней.
Говорит старику старуха:
«Воротись, поклонися рыбке.
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в Окияне-море,
Чтобы служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках».

Старик не осмелился перечить,
Не дерзнул поперек слова молвить.
Вот идет он к синему морю,
Видит, на море черная буря:
Так и вздулись сердитые волны,
Так и ходят, так воем и воют.
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:

«Смилуйся, государыня рыбка!
Что мне делать с проклятою бабой?
Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владычицей морскою;
Чтобы жить ей в Окияне-море,
Чтобы ты сама ей служила
И была бы у ней на посылках».
Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.

Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился —
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.

Иван Захарович Суриков (1841 – 1880)

Рябина

«Что шумишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Низко наклоняясь
Головою к тыну?» —

«С ветром речь веду я
О своей невзгоде,
Что одна росту я
В этом огороде.

Грустно, сиротинка,
Я стою, качаюсь,
Что к земле былинка,
К тыну нагибаюсь.

Там, за тыном в поле,
Над рекой глубокой,
На просторе, в воле
Дуб растет высокий.

Как бы я желала
К дубу перебраться;
Я б тогда не стала
Гнуться да качаться.

Близко бы ветвями
Я к нему прижалась
И с его листами
День и ночь шептались.

Нет, нельзя рябинке
К дубу перебраться!
Знать, мне, сиротинке,
Век одной качаться».

Алексей Константинович Толстой (1817 – 1875)

* * *

Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Темно-голубые?
И о чем звените вы
В день веселый мая,
Средь некошеной травы
Головой качая?

Конь несет меня стрелой
На поле открытом;
Он вас топчет под собой,
Бьет своим копытом.
Колокольчики мои,
Цветики степные!
Не кляните вы меня,
Темно-голубые!

Я бы рад вас не топтать,
Рад промчаться мимо,
Но уздой не удержать
Бег неукротимый!
Я лечу, лечу стрелой,
Только пыль взметаю;
Конь несет меня лихой, —
А куда? Не знаю!

Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910)

Акула
Рассказ

Наш корабль стоял на якоре у берега Африки. День был прекрасный, с моря дул свежий ветер, но к вечеру погода изменилась: стало душно и точно из топленой печи, несло на нас горячим воздухом с пустыни Сахары.

Перед закатом солнца капитан вышел на палубу, крикнул: «Купаться!» – и в одну минуту матросы попрыгали в воду, спустили в воду парус, привязали его и в парусе устроили купальню.

На корабле с нами было два мальчика. Мальчики первые попрыгали в воду, но им тесно было в парусе, и они вздумали плавать наперегонки в открытом море.

Оба, как ящерицы, вытягивались в воде и что было силы поплыли к тому месту, где был бочонок над якорем.

Один мальчик сначала перегнал товарища, но потом стал отставать. Отец мальчика, старый артиллерист, стоял на палубе и любовался на своего сына. Когда сын стал отставать, отец крикнул ему: «Не выдавай! Понатужься!»

Вдруг с палубы кто-то крикнул: «Акула!» – и все мы увидели в воде спину морского чудовища.

Акула плыла прямо на мальчиков.

– Назад! – Назад! Вернитесь! Акула! – закричал артиллерист.

Но ребята не слыхали его, плыли дальше, смеялись и кричали еще веселее и громче прежнего.

Артиллерист, бледный как полотно, не шевелясь, смотрел на детей.

Матросы спустили лодку, бросились в нее и, сгибая весла, понеслись что было силы к мальчикам; но они были еще далеко от них, когда акула уже была не дальше двадцати шагов.

Мальчики сначала не слыхали того, что им кричали, и не видали акулы; но потом один из них оглянулся, и мы все услыхали пронзительный визг, и мальчики поплыли в разные стороны.

Визг этот как будто разбудил артиллериста. Он сорвался с места и побежал к пушкам. Он повернул хобот, прилег к пушке, прицелился и взял фитиль.

Все мы, сколько нас ни было на корабле, замерли от страха и

ждали, что будет.

Раздался выстрел, и мы увидели, что артиллерист упал подле пушки и закрыл лицо руками. Что сделалось с акулой и с мальчиками, мы не видали, потому что на минуту дым застлал нам глаза.

Но, когда дым разошелся над водою, со всех сторон послышался сначала тихий ропот, потом ропот этот стал сильнее, и наконец со всех сторон раздался громкий, радостный крик.

Старый артиллерист открыл лицо, поднялся и посмотрел на море.

По волнам колыхалось желтое брюхо мертвой акулы. В несколько минут лодка подплыла к мальчикам и привезла их на корабль.

Липунюшка
Сказка

Жил старик со старухой. У них не было детей. Старик поехал в поле пахать, а старуха осталась дома блины печь. Старуха напекла блинов и говорит:

– Если бы был у нас сын, он бы отцу блинов отнес; а теперь с кем я пошлю?

Вдруг из хлопка вылез маленький сыночек и говорит:

– Здравствуй, матушка!..

А старуха и говорит:

– Откуда ты, сыночек, взялся и как тебя звать?

А сыночек и говорит:

– Ты, матушка, отпряла хлопочек и положила в столбочек, я там и вывелся. А звать меня Липунюшкой. Дай, матушка, я отнесу блинов батюшке.

Старуха и говорит:

– Ты донесешь ли, Липунюшка?

– Донесу, матушка…

Старуха завязала блины в узелок и дала сыночку. Липунюшка взял узел и побежал в поле.

В поле попалась ему на дороге кочка; он и кричит:

– Батюшка, батюшка, пересади меня через кочку! Я тебе блинов принес.

Старик услыхал с поля, кто-то его зовет, пошел к сыну навстречу, пересадил его через кочку и говорит:

– Откуда ты, сынок?

А мальчик говорит:

– Я, батюшка, в хлопочке вывелся, – и подал отцу блинов.

Старик сел завтракать, а мальчик говорит:

– Дай, батюшка, я буду пахать.

А старик говорит:

– У тебя силы недостанет пахать.

А Липунюшка взялся за соху и стал пахать. Сам пашет и сам песни поет.

Ехал мимо этого поля барин и увидел, что старик сидит завтракает, а лошадь одна пашет. Барин вышел из кареты и говорит старику:

– Как это у тебя, старик, лошадь одна пашет?

А старик говорит:

– У меня там мальчик пашет, он и песни поет.

Барин подошел ближе, услыхал песни и увидел Липунюшку.

Барин и говорит:

– Старик, продай мне мальчика.

А старик говорит:

– Нет, мне нельзя продать, у меня один только и есть.

А Липунюшка говорит старику:

– Продай, батюшка, я убегу от него.

Мужик продал мальчика за сто рублей. Барин отдал деньги, взял мальчика, завернул его в платочек и положил в карман.

Барин приехал домой и говорит жене:

– Я тебе радость привез.

А жена говорит:

– Покажи, что такое?

Барин достал платочек из кармана, развернул его, в платочке ничего нету. Липунюшка уже давно к отцу убежал.

Федор Иванович Тютчев
(1803 – 1873)

* * *

Зима недаром злится,
Прошла ее пора —
Весна в окно стучится
И гонит со двора.

И все засуетилось,
Все нудит Зиму вон —
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.

Зима еще хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит…

Взбесилась ведьма злая
И, снегу захватя,
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя…

Весне и горя мало:
Умылася в снегу
И лишь румяней стала
Наперекор врагу.

Русская литература XX века

Константин Дмитриевич Бальмонт (1867 – 1942)

Снежинка

Светло-пушистая,
Снежинка белая,
Какая чистая,
Какая смелая!

Дорогой бурною
Легко проносится,
Не в высь лазурную,
На землю просится.

Лазурь чудесную
Она покинула,
Себя в безвестную
Страну низринула.

В лучах блистающих
Скользит, умелая,
Средь хлопьев тающих
Сохранно-белая.

Под ветром веющим
Дрожит, взметается,
На нем, лелеющем,
Светло качается.

Его качелями
Она утешена,
С его метелями
Крутится бешено.

Но вот кончается
Дорога дальняя.
Земли касается
Звезда кристальная.

Лежит пушистая,
Снежинка смелая,

Какая чистая,
Какая белая!

Агния Львовна Барто
(1906 – 1981)

Очки

Скоро десять лет Сереже,
Диме
Нет еще шести, —
Дима
Все никак не может
До Сережи дорасти.

Бедный Дима,
Он моложе!
Он завидует
Сереже!

Брату все разрешено —
Он в четвертом классе!
Может он ходить в кино,
Брать билеты в кассе.

У него в портфеле ножик,
На груди горят значки,
А теперь еще Сереже
Доктор выписал очки.

Нет, ребята, это слишком!
Он в очках явился вдруг!
Во дворе сказал мальчишкам:
– Я ужасно близорук!

И наутро вот что было:
Бедный Дима вдруг ослеп.
На окне лежало мыло —
Он сказал, что это хлеб.

Со стола он сдернул скатерть,
Налетел на стул спиной
И спросил про тетю Катю:
– Это шкап передо мной?

Ничего не видит Дима.
Стул берет – садится мимо
И кричит: – Я близорукий!
Мне к врачу необходимо!

Я хочу идти к врачу,
Я очки носить хочу!

– Не волнуйся и не плачь, —
Говорит больному врач.
Надевает он халат,
Вынимает шоколад.

Не успел сказать ни слова,
Раздается крик больного:
– Шоколада мне не надо,
Я не вижу шоколада!

Доктор смотрит на больного,
Говорит ему сурово:
– Мы тебе не дурачки!
Не нужны тебе очки!

Вот шагает Дима к дому.
Он остался в дурачках.
Не завидуйте другому,
Даже если он в очках.

Валентин Дмитриевич Берестов (1928 – 1998)

Как найти дорожку

Ребята пошли в гости к деду-леснику. Пошли и заблудились. Смотрят, над ними Белка прыгает. С дерева на дерево, с дерева на дерево. Ребята – к ней:

Белка, Белка, расскажи,
Белка, Белка, покажи,
Как найти дорожку
К дедушке в сторожку.

– Очень просто, – отвечает Белка. – Прыгайте с этой елки вот на ту, с той – на кривую березку. С кривой березки виден большой-большой дуб. С верхушки дуба видна крыша. Это и есть сторожка… Ну, что же вы? Прыгайте!

– Спасибо, Белка! – говорят ребята. – Только мы не умеем по деревьям прыгать. Лучше мы еще кого-нибудь спросим.

Скачет Заяц. Ребята и ему спели свою песенку:

Зайка, Зайка, расскажи,
Зайка, Зайка, покажи,
Как найти дорожку
К дедушке в сторожку.

– В сторожку? – переспросил Заяц. – Нет ничего проще. Сначала будет пахнуть грибами. Так? Потом – заячьей капустой. Так? Потом запахнет лисьей норой. Так? Обскочите этот запах справа или слева. Так? Когда он останется позади, понюхайте вот так и учуете запах дыма. Скачите прямо на него, никуда не сворачивая. Это дедушка-лесник самовар ставит.

– Спасибо, Зайка! – говорят ребята. – Жалко, что носы у нас не такие чуткие, как у тебя. Придется еще кого-нибудь спросить.

Видят, ползет Улитка.

Эй, Улитка, расскажи,
Эй, Улитка, покажи,
Как найти дорожку
К дедушке в сторожку.

– Рассказывать до-о-олго, – вздохнула Улитка. – Лучше я вас туда провожу-у-у. Ползите за мной.

– Спасибо, Улитка! – говорят ребята. – Нам некогда ползать. Лучше мы еще кого-нибудь спросим.

На цветке сидит Пчела. Ребята – к ней:

Пчелка, Пчелка, расскажи,
Пчелка, Пчелка, покажи,
Как найти дорожку
К дедушке в сторожку.

– Ж-ж-ж, – говорит Пчела. – Покажжжу. Смотрите, куда я лечу. Идите следом. Увидите моих сестер. Куда они, туда и вы. Мы дедушке на пасеку мед носим. Ну, до свиданья! Я уж-ж-жасно тороплюсь. Ж-ж-ж…

И улетела. Ребята не успели ей даже спасибо сказать.

Они пошли туда, куда летели пчелы, и быстро нашли сторожку. Вот была радость! А потом дедушка их чаем с медом угостил.

Виталий Валентинович Бианки (1894 – 1959)

Мышонок Пик

Как мышонок попал в мореплаватели

Ребята пускали по реке кораблики. Брат вырезал их ножиком из толстых кусков сосновой коры. Сестренка прилаживала паруса из тряпочек.

На самый большой кораблик понадобилась длинная мачта.

– Надо из прямого сучка, – сказал брат, взял ножик и пошел в кусты.

Вдруг он закричал оттуда:

– Мыши, мыши!

Сестренка бросилась к нему.

– Рубнул сучок, – рассказывал брат, – а они как порскнут! Целая куча! Одна вон сюда под корень. Погоди, я ее сейчас…

Он перерубил ножиком корень и вытащил крошечного мышонка.

– Да какой же он малюсенький! – удивилась сестренка. – И желторотый! Разве такие бывают.

– Это дикий мышонок, – объяснил брат, – полевой. У каждой породы свое имя, только я не знаю, как этого зовут.

Тут мышонок открыл розовый ротик и пискнул.

– Пик! Он говорит, его зовут Пик! – засмеялась сестренка. – Смотри, как он дрожит! Ай! Да у него ушко в крови. Это ты его ножиком ранил, когда доставал. Ему больно.

– Все равно убью его, – сердито сказал брат. – Я их всех убиваю: зачем они у нас хлеб воруют?

– Пусти его, – взмолилась сестренка, – он же маленький!

Но мальчик не хотел слушать.

– В речку заброшу, – сказал он и пошел к берегу.

Девочка вдруг догадалась, как спасти мышонка.

– Стой! – закричала она брату. – Знаешь что? Посадим его в наш самый большой кораблик, и пускай он будет за пассажира!

На это брат согласился: все равно мышонок потонет в реке. А с живым пассажиром кораблик пустить интересно.

Наладили парус, посадили мышонка в долбленое суденышко и пустили по течению. Ветер подхватил кораблик и погнал его от берега. Мышонок крепко вцепился в сухую кору и не шевелился.

Ребята махали ему руками с берега.

В это время их кликнули домой. Они еще видели, как легкий кораблик на всех парусах исчез за поворотом реки.

– Бедный маленький Пик! – говорила девочка, когда они возвращались домой. – Кораблик, наверно, опрокинет ветром, и Пик утонет.

Мальчик молчал. Он думал, как бы ему извести всех мышей у них в чулане.

Кораблекрушение

А мышонка несло да несло на легком сосновом кораблике. Ветер гнал суденышко все дальше от берега. Кругом плескались высокие волны. Река была широкая – целое море для крошечного Пика.

Пику было всего две недели от роду. Он не умел ни пищи себе разыскивать, ни прятаться от врагов. В тот день мышка-мать первый раз вывела своих мышат из гнезда – погулять. Она как раз кормила их своим молоком, когда мальчик вспугнул все мышиное семейство.

Пик был еще сосунком. Ребята сыграли с ним злую шутку. Лучше б они разом убили его, чем пускать одного, маленького и беззащитного, в такое опасное путешествие.

Весь мир был против него. Ветер дул, точно хотел опрокинуть суденышко, волны кидали кораблик, как будто хотели утопить его в темной своей глубине. Звери, птицы, гады, рыбы – все были против него. Каждый не прочь был поживиться глупым, беззащитным мышонком.

Первые заметили Пика большие белые чайки. Они подлетели и закружились над корабликом. Они кричали от досады, что не могут разом прикончить мышонка: боялись с лету разбить себе клюв о твердую кору. Некоторые опустились на воду и вплавь догоняли кораблик.

А со дна реки поднялась щука и тоже поплыла за корабликом. Она ждала, когда чайки скинут мышонка в воду. Тогда ему не миновать ее страшных зубов.

Пик слышал хищные крики чаек. Он зажмурил глаза и ждал смерти.

В это время сзади подлетела крупная хищная птица – рыболов-скопа. Чайки бросились врассыпную.

Рыболов увидал мышонка на кораблике и под ним щуку в воде. Он сложил крылья и ринулся вниз.

Он упал в реку совсем рядом с корабликом. Концом крыла он задел парус, и суденышко перевернулось.

Когда рыболов тяжело поднялся из воды со щукой в когтях,

на перевернутом кораблике никого не было. Чайки увидели это издали и улетели прочь; они думали, что мышонок утонул.

Пик не учился плавать. Но когда он попал в воду, оказалось, что надо было только работать лапками, чтобы не утонуть. О вынырнул и ухватился зубами за кораблик.

Его понесло вместе с перевернувшимся суденышком. Скоро суденышко прибило волнами к незнакомому берегу.

Пик выскочил на песок и кинулся в кусты.

Это было настоящее кораблекрушение, и маленький пассажир мог считать себя счастливцем, что спасся.

Страшная ночь

Пик вымок до последней шерстинки. Пришлось вылизать всего себя язычком. После этого шерстка скоро высохла, и он согрелся. Ему хотелось есть. Но выйти из-под куста он боялся: с реки доносились резкие крики чаек.

Так он и просидел голодный целый день.

Наконец стало темнеть. Птицы угомонились. Только звонкие волны разбивались о близкий берег.

Пик осторожно вылез из-под куста.

Огляделся – никого. Тогда он темным клубочком быстро покатился в траву.

Тут он принялся сосать все листья и стебли, какие попадались ему на глаза. Но молока в них не было.

С досады он стал теребить и рвать их зубами.

Вдруг из одного стебля брызнул ему в рот теплый сок. Сок был сладкий, как молоко мыши-матери.

Пик съел этот стебель и стал искать другие такие же. Он был голоден и совсем не видел, что творится вокруг него.

А над макушками высоких трав уже всходила полная луна. Быстрые тени бесшумно проносились в воздухе: это гонялись за ночными бабочками верткие летучие мыши.

Тихие шорохи и шелесты слышались со всех сторон в траве. Кто-то копошился там, шмыгал в кустах, прятался в кочках.

Пик ел. Он перегрызал стебли у самой земли. Стебель падал, и на мышонка летел дождь холодной росы. Зато на конце стебля Пик находил вкусный колосок. Мышонок усаживался, поднимал стебель передними лапками, как руками, и быстро съедал колосок.

Плюх-шлеп! – ударилось что-то о землю недалеко от мышонка.

Пик перестал грызть, прислушался.

В траве шуршало.

Плюх-шлеп!

Кто-то скакал по траве прямо на мышонка.

Надо скорей назад, в кусты!

Плюх-шлеп! – скакнуло сзади.

Плюх-шлеп! Плюх-шлеп! – раздалось со всех сторон.

Плюх! – раздалось совсем близко впереди.

Чьи-то длинные, вытянутые ноги мелькнули над травой, и – шлеп! – перед самым носом Пика шлепнулся на землю пучеглазый маленький лягушонок.

Он испуганно уставился на мышонка. Мышонок с удивлением и страхом рассматривал его голую скользкую кожу…

Так они сидели друг перед другом, и ни тот, ни другой не знали, что дальше делать.

А кругом по-прежнему слышалось – плюх-шлеп! плюх-шлеп! – точно целое стадо перепуганных лягушат, спасаясь от кого-то, скакало по траве.

И все ближе и ближе слышалось легкое быстрое шуршанье.

И вот на один миг мышонок увидел: позади лягушонка взметнулось длинное гибкое тело серебристо-черной змеи.

Змея скользнула вниз, и длинные задние ноги лягушонка дрыгнули в ее разинутой пасти.

Что дальше было, Пик не видел. Он опрометью кинулся прочь и сам не заметил, как очутился на ветке куста, высоко над землей.

Тут он и провел остаток ночи, благо брюшко у него было туго набито травой.

А кругом до рассвета слышались шорохи и шелесты.

Хвост-цеплялка и шёрстка-невидимка

Голодная смерть больше не грозит Пику: он уже научился находить себе пищу. Но как ему одному было спастись от всех врагов?

Мыши всегда живут большими стаями: так легче защищаться от нападения. Кто-нибудь да заметит приближающегося врага, свистнет, и все спрячутся.

А Пик был один. Ему надо было скорей отыскать других мышей и пристать к ним. И Пик отправился на розыски. Где только мог, он старался пробираться кустами. В этом месте было много змей, и он боялся спускаться к ним на землю.

Лазать он научился отлично. Особенно помогал ему хвост. Хвост у него был длинный, гибкий и цепкий. С такой цеплялкой он мог лазать по тоненьким веточкам не хуже мартышки.

С ветки на ветку, с сучка на сучок, с куста на куст – так

пробирался Пик три ночи подряд.

Наконец кусты кончились. Дальше был луг.

Мышей в кустах Пик не встретил. Пришлось бежать дальше травой.

Луг был сухой. Змеи не попадались. Мышонок расхрабрился, стал путешествовать и при солнце. Ел он теперь все, что ему попадалось: зерна и клубни разных растений, жуков, гусениц, червей. А скоро научился и новому способу прятаться от врагов.

Случилось это так: Пик раскопал в земле личинки каких-то жуков, уселся на задние лапки и стал закусывать.

Ярко светило солнце. В траве стрекотали кузнечики.

Пик видел вдали над лугом маленького сокола-трясучку, но не боялся его. Трясучка – птица величиной с голубя, только потоньше, – неподвижно висела в пустом воздухе, точно подвешенная на веревочке. Только крылья у нее чуть-чуть тряслись да голову она поворачивала из стороны в сторону.

Он и не знал, какие зоркие глаза у трясучки.

Грудка у Пика была белая. Когда он сидел, ее далеко было видно на бурой земле.

Пик понял опасность, только когда трясучка разом ринулась с места и стрелой понеслась к нему.

Бежать было поздно. У мышонка от страха отнялись ноги. Он прижался грудью к земле и замер.

Трясучка долетела до него и вдруг опять повисла в воздухе, чуть заметно трепеща острыми крыльями. Она никак не могла взять в толк, куда исчез мышонок. Сейчас только она видела его ярко-белую грудку, и вдруг он пропал. Она зорко всматривалась в то место, где он сидел, но видела только бурые комья земли.

А Пик лежал тут, у нее на глазах.

На спинке-то шерстка у него была желто-бурая, точь-в-точь под цвет земли, и сверху его никак нельзя было разглядеть.

Тут выскочил из травы зеленый кузнечик.

Трясучка кинулась вниз, подхватила его на лету и умчалась прочь.

Шерстка-невидимка спасла Пику жизнь.

С тех пор, как замечал он издали врага, сейчас же прижимался к земле и лежал не шевелясь. И шерстка-невидимка делала свое дело: обманывала самые зоркие глаза.

«Соловей-разбойник»

День за днем Пик бежал по лугу, но нигде не находил никаких следов мышей.

Наконец опять начались кусты, а за ними Пик услышал

знакомый плеск речных волн.

Пришлось мышонку повернуть и направиться в другую сторону. Он бежал всю ночь, а к утру забрался под большой куст и лег спать.

Его разбудила громкая песня. Пик выглянул из-под корней и увидел у себя над головой красивую птичку с розовой грудью, серой головкой и красно-коричневой спинкой. Мышонку очень понравилась ее веселая песня. Ему захотелось послушать певичку поближе. Он полез к ней по кусту.

Певчие птицы никогда не трогали Пика, и он их не боялся. А эта певичка и ростом-то была немного крупнее воробья.

Не знал глупый мышонок, что это был сорокопут-жулан и что он хоть и певчая птица, а промышляет разбоем.

Пик и опомниться не успел, как жулан накинулся на него и больно ударил крючковатым клювом в спину.

От сильного удара Пик кубарем полетел с ветки.

Он упал в мягкую траву и не расшибся. Не успел жулан опять накинуться на него, как мышонок уже шмыгнул под корни. Тогда хитрый «соловей-разбойник» уселся на куст и стал ждать, не выглянет ли Пик из-под корней.

Он пел очень красивые песенки, но мышонку было не до них. С того места, где сидел теперь Пик, ему был хорошо виден куст, на котором сидел жулан.

Ветки этого куста были усажены длинными острыми колючками. На колючках, как на пиках, торчали мертвые, наполовину съеденные птенчики, ящерки, лягушата, жуки и кузнечики. Тут была воздушная кладовая разбойника.

Сидеть бы на колючке и мышонку, если бы он вышел из-под корней.

Целый день жулан сторожил Пика. Но когда зашло солнце, разбойник забрался в чащу спать. Тогда мышонок тихонько вылез из-под куста и убежал.

Может быть, впопыхах он сбился с пути, только на следующее утро он опять услышал за кустами плеск реки. И опять ему пришлось повернуть и бежать в другую сторону.

Конец путешествия

Пик бежал теперь по высохшему болоту.

Здесь рос один сухой мох; бежать по нему было очень трудно, а главное – нечем было подкрепиться; не попадались ни черви, ни гусеницы, ни сочная трава.

На вторую ночь мышонок совсем выбился из сил. Он с трудом взобрался еще на какой-то пригорок и упал. Глаза его слипались.

В горле пересохло. Чтобы освежиться, он лежа слизывал со мха капельки холодной росы.

Начало светать. С пригорка Пик далеко видел покрытую мхом долину. За ней снова начинался луг. Сочные травы там стояли высокой стеной. Но у мышонка не было сил подняться и добежать до них.

Выглянуло солнце. От его горячего света быстро стали высыхать капельки росы.

Пик чувствовал, что ему приходит конец. Он собрал остатки сил, пополз, но тут же свалился и скатился с пригорка. Он упал на спину, лапками вверх, и видел теперь перед собой только обросшую мхом кочку.

Прямо против него в кочке виднелась глубокая черная дырка, такая узкая, что Пик не мог бы всунуть в нее даже голову.

Мышонок заметил, что в глубине ее что-то шевелится.

Скоро у входа показался мохнатый толстый шмель. Он вылез из дырки, почесал лапкой круглое брюшко, расправил крылья и поднялся на воздух.

Сделав круг над кочкой, шмель вернулся к своей норке и опустился у ее входа. Тут он привстал на лапках и так заработал своими жесткими крылышками, что ветер пахну́л на мышонка.

«Жжжуу! – гудели крылышки. – Жжжуу!..»

Это был шмель-трубач. Он загонял в глубокую норку свежий воздух – проветривал помещение – и будил других шмелей, еще спавших в гнезде.

Скоро один за другим вылезли из норки все шмели и полетели на луг – собирать мед. Последним улетел трубач. Пик остался один. Он понял, что надо сделать, чтобы спастись.

Кое-как, ползком, с передышками, он добрался до шмелиной норки. Оттуда ударил ему в нос сладкий запах.

Пик ковырнул носом землю. Земля подалась.

Он ковырнул еще и еще, пока не вырыл ямку. На дне ямки показались крупные ячейки серого воска. В одних лежали шмелиные личинки, другие были полны душистым желтым медом.

Мышонок жадно стал лизать сладкое лакомство. Вылизал весь мед, принялся за личинок и живо справился с ними.

Силы быстро возвращались к нему: такой сытной пищи он еще ни разу не ел с тех пор, как расстался с матерью. Он дальше и дальше разрывал землю – теперь уже без труда – и находил все новые ячейки с медом, с личинками.

Вдруг что-то больно кольнуло его в щеку. Пик отскочил. Из-под земли лезла на него большая шмелиная матка.

Пик хотел было кинуться на нее, но тут загудели, зажужжали

над ним крылья: шмели вернулись с луга.

Целое войско их накинулось на мышонка, и ему ничего не оставалось, как броситься в бегство.

Со всех ног пустился от них Пик. Густая шерстка защищала его от страшных шмелиных жал. Но шмели выбирали места, где волос покороче, и кололи его в уши, в ноги, в затылок.

Одним духом – откуда и прыть взялась! – домчался он до луга и спрятался в густой траве.

Тут шмели отстали от него и вернулись к своему разграбленному гнезду.

В тот же день Пик пересек сырой, болотистый луг и снова очутился на берегу реки.

Пик находился на острове.

Постройка дома

Остров, на который попал Пик, был необитаемый: мышей на нем не было. Жили тут только птицы, только змеи да лягушки, которым ничего не стоило перебраться сюда через широкую реку.

Пик должен был жить здесь один.

Знаменитый Робинзон{*Робинзон Крузо* – герой романа английского писателя Даниэля Дефо (1660 – 1731) с таким же названием.}, когда он попал на необитаемый остров, стал думать, как ему жить одному. Он рассудил, что сперва надо выстроить себе дом, который защищал бы его от непогоды и нападения врагов. А потом стал собирать запасы на черный день.

Пик был всего только мышонок: он не умел рассуждать. И все-таки он поступил как раз так же, как Робинзон. Первым делом он принялся строить себе дом.

Его никто не учил строить: это было у него в крови. Он строил так, как строили все мыши одной с ним породы.

На болотистом лугу рос высокий тростник вперемежку с осокой – отличный лес для мышиной постройки.

Пик выбрал несколько растущих рядом тростинок, влез на них, отгрыз верхушки и концы расщепил зубами. Он был так мал и легок, что трава легко держала его.

Потом он принялся за листья. Он влезал на осоку и отгрызал лист у самого стебля. Лист падал, мышонок слезал вниз, поднимал передними лапами лист и протягивал его сквозь стиснутые зубы. Размочаленные полоски листьев мышонок таскал наверх и ловко вплетал их в расщепленные концы тростника. Он влезал на такие тонкие травинки, что они гнулись под ним. Он связывал их вершинками одну за другой.

В конце концов у него получился легкий круглый домик,

очень похожий на птичье гнездышко. Весь домик был величиной с детский кулак.

Сбоку мышонок проделал в нем ход, внутри выложил мхом, листьями и тонкими корешками. Для постели он натаскал мягкого, теплого цветочного пуха. Спаленка вышла на славу.

Теперь у Пика было где отдохнуть и прятаться от непогоды и врагов. Издали самый зоркий глаз не мог бы приметить травяное гнездышко, со всех сторон скрытое высоким тростником и густой осокой. Ни одна змея не добралась бы до него: так высоко оно висело над землей.

Лучше придумать не мог бы и сам настоящий Робинзон.

Незваный гость

Проходили дни за днями.

Мышонок спокойно жил в своем воздушном домике. Он стал совсем взрослым, но вырос очень мало. Больше расти ему не полагалось, потому что Пик принадлежал к породе мышей-малюток. Эти мыши еще меньше ростом, чем наши маленькие серые домовые мыши.

Пик часто теперь подолгу пропадал из дому. В жаркие дни он купался в прохладной воде болота, неподалеку от луга.

Один раз он с вечера ушел из дому, нашел на лугу два шмелиных гнезда и так наелся меду, что тут же забрался в траву и заснул.

Домой вернулся Пик только утром. Еще внизу он заметил что-то неладное. По земле и по одному из стеблей тянулась широкая полоса густой слизи, а из гнезда торчал толстый кургузый хвост.

Мышонок не на шутку струсил. Гладкий жирный хвост похож был на змеиный. Только у змей хвост твердый и покрыт чешуей, а этот был голый, мягкий, весь в какой-то липкой слизи.

Пик набрался храбрости и влез по стеблю, поближе взглянуть на незваного гостя.

В это время хвост медленно зашевелился, и перепуганный мышонок кубарем скатился на землю. Он спрятался в траве и оттуда увидел, как чудовище лениво выползло из его дома.

Сперва исчез в отверстии гнезда толстый хвост. Потом оттуда показалось два длинных мягких рога с пупырышками на концах. Потом еще два таких же рога – только коротких. И за ними наконец высунулась вся отвратительная голова чудовища.

Мышонок видел, как медленно-медленно выползло, точно пролилось, из его дома голое, мягкое, слизкое тело гигантского слизняка.

От головы до хвоста слизняк был длиной добрых три вершка{*Вершо́к* – 4,4 сантиметра.}.

Он начал спускаться на землю. Его мягкое брюхо плотно прилипало к стеблю, и на стебле оставалась широкая полоса густой слизи.

Пик не стал дожидаться, когда он сползет на землю, и убежал. Мягкий слизняк ничего не мог сделать ему, но мышонку было противно это холодное, вялое, липкое животное.

Только через несколько часов Пик вернулся. Слизняк куда-то уполз.

Мышонок залез в свое гнездо. Все там было вымазано противной слизью. Пик выкинул весь пух и постелил новый. Только после этого он решился лечь спать. С тех пор, уходя из дому, он всегда затыкал вход пучком сухой травы.

Кладовая

Дни становились короче, ночи холоднее.

На злаках созрели зерна. Ветер ронял их на землю, и птицы стаями слетались к мышонку на луг подбирать их.

Пику жилось очень сытно. Он с каждым днем полнел. Шерстка на нем лоснилась.

Теперь маленький четырехногий робинзон устроил себе кладовую и собирал в нее запасы на черный день. Он вырыл в земле норку и конец ее расширил. Сюда он таскал зерна, как в погреб.

Потом этого ему показалось мало. Он вырыл рядом другой погреб и соединил их подземным ходом.

Все шли дожди. Земля размякла сверху, трава пожелтела, намокла и поникла. Травяной домик Пика опустился и висел теперь низко над землей. В нем завелась плесень.

Жить в гнезде стало плохо. Скоро трава совсем полегла на землю, гнездо приметным темным шариком висело на тростнике. Это уже было опасно.

Пик решил перейти жить под землю. Он больше не боялся, что к нему в норку заползет змея или потревожат его непоседливые лягушата: змеи и лягушата давно куда-то исчезли.

Мышонок выбрал себе для норки сухое и укромное местечко под кочкой. Ход в норку Пик устроил с подветренной стороны, чтобы холодный воздух не задувало в его жилище.

От входа шел длинный прямой коридор. Он расширялся в конце в небольшую круглую комнатку. Сюда Пик натаскал сухого мха и травы – устроил себе спальню.

В его новой подземной спальне было тепло и уютно. Он

прорыл из нее под землей ходы в оба свои погреба, чтобы ему можно было бегать, не выходя наружу.

Когда все было готово, мышонок плотно заткнул травой вход в свой воздушный летний домик и перешел в подземный.

Снег и сон

Птицы больше не прилетали клевать зерно. Трава плотно легла на землю, и холодный ветер свободно разгуливал по острову.

К тому времени Пик ужасно растолстел. Какая-то вялость на него напала. Ему лень было много шевелиться. Он все реже вылезал из норки.

Раз утром он увидел, что вход в его жилище завалило. Он разрыл холодный рыхлый снег и вышел на луг.

Вся земля была белая. Снег нестерпимо сверкал на солнце. Голые лапки мышонка обжигало холодом.

Потом начались морозы.

Плохо пришлось бы мышонку, если б он не запас себе пищи. Как выкапывать зерна из-под глубокого мерзлого снега?

Сонливая вялость все чаще охватывала Пика. Теперь он не выходил из спальни по два, по три дня и все спал. Проснувшись, отправлялся в погреб, наедался там и опять засыпал на несколько дней.

Наружу он совсем перестал ходить.

Под землей ему было хорошо. Он лежал на мягкой постели, свернувшись в теплый, пушистый клубок. Сердчишко его билось все реже, все тише. Дыхание стало слабым-слабым. Сладкий, долгий сон совсем одолел его.

Мышки-малютки не спят всю зиму, как сурки или хомяки. От долгого сна они худеют, им становится холодно. Тогда они просыпаются и берутся за свои запасы.

Пик спал спокойно: ведь у него было два полных погреба зерна. Он и не чуял, какое неожиданное несчастье скоро стрясется над ним.

Ужасное пробуждение

Морозным зимним вечером ребята сидели у теплой печки.

– Плохо сейчас зверюшкам, – задумчиво сказала сестренка. – Помнишь маленького Пика? Где он теперь?

– А кто его знает! – равнодушно ответил брат. – Давно уж, верно, попал кому-нибудь в когти.

Девочка всхлипнула.

– Ты чего? – удивился брат.

– Жалко мышонка, он такой пушистый, желтенький…

– Нашла кого жалеть! Мышеловку поставлю – сто штук тебе наловлю!

– Не надо мне сто! – всхлипывала сестренка. – Принеси мне одного такого маленького, желтенького…

– Обожди, глупая, может, и такой попадется.

Девочка утерла кулачком слезы.

– Ну, смотри: попадется – ты его не трогай, мне подари. Обещаешь?

– Ладно уж, рева! – согласился брат.

В тот же вечер он поставил в чулане мышеловку.

Это был тот самый вечер, когда Пик проснулся у себя в норке.

На этот раз его разбудил не холод. Сквозь сон мышонок почувствовал, как что-то тяжелое надавило ему на спину. И сейчас же мороз защипал его под шерсткой.

Когда Пик совсем очнулся, его уже било от холода. Сверху его придавили земля и снег. Потолок над ним обвалился. Коридор был засыпан.

Нельзя было медлить ни минуты: мороз шутить не любит.

Надо в погреб и поскорей наесться зерна: сытому теплей, сытого мороз не убьет.

Мышонок выскочил наверх и по снегу побежал к погребам.

Но весь снег кругом был изрыт узкими глубокими ямками – следами козьих копыт.

Пик поминутно падал в ямки, карабкался наверх и снова летел вниз.

А когда добрался до того места, где были его погреба, он увидел там только большую яму.

Козы не только разрушили его подземное жилище, но и съели все его запасы.

По снегу и по льду

Немножко зерен Пику удалось все-таки откопать в яме. Козы втоптали их в снег копытами.

Пища подкрепила мышонка и согрела его. Опять начала охватывать его вялая сонливость. Но он чувствовал: поддашься сну – замерзнешь.

Пик стряхнул с себя лень и побежал.

Куда? Этого он и сам не знал. Просто бежал и бежал, куда глаза глядят.

Наступила уже ночь, и луна стояла высоко в небе. Мелкими

звездочками блестел кругом снег.

Мышонок добежал до берега реки и остановился. Берег был обрывистый. Под обрывом лежала густая, темная тень. А впереди сверкала широкая ледяная река.

Пик тревожно понюхал воздух.

Он боялся бежать по льду. Что, если кто-нибудь заметит его посреди реки? В снег хоть зарыться можно, если опасность.

Назад повернуть – там смерть от холода и голода. Впереди где-нибудь есть, может быть, пища и тепло. И Пик побежал вперед. Он спустился под обрыв и покинул остров, на котором долго жил так спокойно и счастливо.

А злые глаза уже заметили его.

Он не добежал еще до середины реки, когда сзади стала его настигать быстрая и бесшумная тень. Только тень, легкую тень на льду он и увидал, обернувшись. Он даже не знал, кто за ним гонится.

Напрасно он припал к земле брюшком, как делал всегда в минуту опасности: его темная шерстка резким пятном выделялась на сверкающем синеватом льду, и прозрачная мгла лунной ночи не могла спрятать его от страшных глаз врага.

Тень покрыла мышонка. Кривые когти больно впились в его тело. По голове что-то крепко стукнуло. И Пик перестал чувствовать.

Из беды в беду

Пик очнулся в полной темноте. Он лежал на чем-то твердом и неровном. Голова и раны на теле сильно болели, но было тепло.

Пока он зализывал свои раны, глаза его понемножку начали привыкать к темноте.

Он увидел, что находится в просторном помещении с круглыми стенами, уходящими куда-то вверх. Потолка не было видно, хотя где-то над головой мышонка зияло большое отверстие. Через это отверстие в помещение проникал еще совсем бледный свет утренней зари.

Пик посмотрел, на чем он лежит, и сейчас же вскочил.

Лежал он, оказывается, на мертвых мышах. Мышей было несколько, и все они закоченели: видно, лежали здесь давно.

Страх придал мышонку силы.

Пик выкарабкался по шероховатой отвесной стене и выглянул наружу.

Кругом были только засыпанные снегом ветви. Внизу под ними виднелись макушки кустов.

Сам Пик находился на дереве: выглядывал из дупла.

Кто принес его сюда и бросил на дно дупла, мышонок так никогда и не узнал. Да он и не ломал себе голову над этой загадкой, а просто поспешил скорей удрать отсюда.

Дело же было так. На льду реки его настигла ушастая лесная сова. Она стукнула его клювом по голове, схватила когтями и понесла в лес.

К счастью, сова была очень сыта: она только что поймала зайчонка и съела, сколько могла. Зоб ее был так плотно набит, что в нем не оставалось места даже для маленького мышонка. Она и решила оставить Пика про запас.

Сова отнесла его в лес и кинула в дупло, где у нее была кладовая. Она еще с осени натаскала сюда с десяток убитых мышей. Зимой добывать пищу бывает трудно, и даже таким ночным разбойникам, как сова, случается голодать.

Конечно, она не знала, что мышонок только оглушен, а то сейчас же проломила бы ему череп своим острым клювом! Обыкновенно ей удавалось приканчивать мышей с первого удара.

Пику повезло на этот раз. Пик благополучно спустился с дерева и шмыгнул в кусты.

Только тут он заметил, что с ним творится что-то неладное: дыхание со свистом вылетало у него из горла.

Раны не были смертельны, но совиные когти что-то повредили ему в груди, и вот он начал свистеть после быстрого бега.

Когда он отдохнул и стал дышать ровно, свист прекратился. Мышонок наелся горькой коры с куста и снова побежал – подальше от страшного места.

Мышонок бежал, а позади него оставалась в снегу тонкая двойная дорожка: его след.

И когда Пик добежал до поляны, где за забором стоял большой дом с дымящими трубами, на след его уже напала лиса.

Нюх у лисы очень тонкий. Она сразу поняла, что мышонок пробежал тут только что, и пустилась его догонять.

Ее огненно-рыжий хвост так и замелькал меж кустов, и уж, конечно, она бежала гораздо быстрей мышонка.

Горе-музыкант

Пик не знал, что лиса гонится за ним по пятам. Поэтому, когда из дома выскочили две громадные собаки и с лаем кинулись к нему, решил, что погиб.

Но собаки, понятно, его даже не заметили. Они увидели лису, которая выскочила за ним из кустов, и кинулись на нее.

Лиса мигом повернула назад. Ее огненный хвост мелькнул в

последний раз и исчез в лесу. Собаки громадными прыжками пронеслись над головой мышонка и тоже пропали в кустах.

Пик без всяких приключений добрался до дома и шмыгнул в подполье.

Первое, что Пик заметил в подполье, был сильный запах мышей.

У каждой породы зверей свой запах, и мыши различают друг друга по запаху так же хорошо, как мы различаем людей по их виду.

Поэтому Пик узнал, что тут жили мыши не его породы. Но все-таки это были мыши, и Пик был мышонок.

Он так же обрадовался им, как Робинзон обрадовался людям, когда вернулся к ним со своего необитаемого острова.

Сейчас же и Пик побежал отыскивать мышей.

Но разыскать мышей здесь оказалось не так просто. Мышиные следы и запах их были всюду, а самих мышей нигде не было видно.

В потолке подполья были прогрызены дырки. Пик подумал, что мыши, может быть, живут там, наверху, взобрался по стенке, вылез через дырку и очутился в чулане.

На полу стояли большие, туго набитые мешки. Один из них был прогрызен внизу, и крупа высыпалась из него на пол.

А по стенкам чулана были полки. Оттуда доносились замечательные вкусные запахи. Пахло и копченым, и сушеным, и жареным, и еще чем-то очень сладким.

Голодный мышонок жадно набросился на еду.

После горькой коры крупа показалась ему такой вкусной, что он наелся прямо до отвала. Так наелся, что ему даже дышать стало трудно.

И тут опять в горле у него засвистело и запело.

А в это время из дырки в полу высунулась усатая острая мордочка. Сердитые глазки блеснули в темноте, и в чулан выскочила крупная серая мышь, а за ней еще четыре такие же.

Вид у них был такой грозный, что Пик не решился кинуться им навстречу. Он робко топтался на месте и от волнения свистал все громче и громче.

Серым мышам не понравился этот свист.

Откуда взялся этот чужой мышонок-музыкант?

Серые мыши чулан считали своим. Они иногда принимали к себе в подполье диких мышей, прибегавших из лесу, но таких свистунов никогда еще не видали.

Одна из мышей бросилась на Пика и больно куснула его в плечо. За ней налетели другие.

Пик еле-еле успел улизнуть от них в дырочку под каким-то

ящиком. Дырочка была так узка, что серые мыши не могли туда за ним пролезть. Тут он был в безопасности.

Но ему было очень горько, что его серые родственники не захотели принять его в свою семью.

Мышеловка

Каждое утро сестренка спрашивала у брата:

– Ну что, поймался мышонок?

Брат показывал ей мышей, какие попадались ему в мышеловку. Но это были все серые мыши, и девочке они не нравились. Она даже немножко боялась их. Ей непременно надо было маленького желтого мышонка, но в последние дни мыши что-то перестали попадаться.

Удивительней всего было, что приманку кто-то съедал каждую ночь. С вечера мальчик насадит пахучий кусочек копченой ветчины на крючок, насторожит тугие дверцы мышеловки, а утром придет – на крючке нет ничего, и дверцы захлопнуты.

Он уж и мышеловку сколько раз осматривал: нет ли где дырки? Но больших дырок – таких, через которые могла пролезть мышь, – в мышеловке не было.

Так прошла целая неделя, а мальчик никак не мог понять, кто ворует у него приманку.

И вот утром на восьмой день мальчик прибежал из чулана и еще в дверях закричал:

– Поймал! Гляди: желтенький!

– Желтенький, желтенький! – радовалась сестренка. – Смотри, да это же наш Пик: у него и ушко разрезано. Помнишь, ты его ножиком тогда?.. Беги скорей за молоком, а я оденусь пока.

Она была еще в постели.

Брат побежал в другую комнату, а она поставила мышеловку на пол, выскочила из-под одеяла и быстро накинула на себя платье.

Но, когда она снова взглянула на мышеловку, мышонка там уже не было.

Пик давно научился удирать из мышеловки. Одна проволочка была в ней немножко отогнута. Серые мыши не могли протиснуться в эту лазейку, а он проходил свободно.

Он попадал в ловушку через открытые дверцы и сейчас же дергал за приманку.

Дверцы с шумом захлопывались, но он быстро оправлялся от страха, спокойно съедал приманку, а потом уходил через лазейку.

В последнюю ночь мальчик случайно поставил мышеловку у самой стенки, и как раз тем боком, где была лазейка, и Пик попался. А когда девочка оставила мышеловку среди комнаты, он выскочил и спрятался за большой сундук.

Музыка

Брат застал сестренку в слезах.

– Он убежал! – говорила она сквозь слезы. – Он не хочет у меня жить!

Брат поставил блюдечко с молоком на стол и принялся ее утешать:

– Распустила нюни! Да я его сейчас поймаю в сапог!

– Как в сапог? – удивилась девочка.

– Очень просто! Сниму сапог и положу его голенищем по стенке, а ты погонишь мышонка. Он побежит вдоль стенки – они всегда по самой стенке бегают, – увидит дырку в голенище, подумает, что это норка, и шмыг туда! Тут я его и схвачу, в сапоге-то.

Сестренка перестала плакать.

– А знаешь что? – сказала она задумчиво. – Не будем его ловить. Пусть живет у нас в комнате. Кошки у нас нет, его никто не тронет. А молочко я буду ставить ему вот сюда, на пол.

– Всегда ты выдумываешь! – недовольно сказал брат. – Мне дела нет. Этого мышонка я тебе подарил, делай с ним, что хочешь.

Девочка поставила блюдце на пол, накрошила в него хлеба. Сама села в сторонку и стала ждать, когда мышонок выйдет. Но он так и не вышел до самой ночи. Ребята решили даже, что он убежал из комнаты.

Однако утром молоко оказалось выпитым и хлеб съеденным.

«Как же мне его приручить?» – думала девочка.

Пику жилось теперь очень хорошо. Он ел теперь всегда вдоволь, серых мышей в комнате не было, и его никто не трогал.

Он натаскал за сундук тряпок и бумажек и устроил себе там гнездо.

Людей он остерегался и выходил из-за сундука только ночью, когда ребята спали.

Но раз днем он услышал красивую музыку. Кто-то играл на дудочке. Голос у дудочки был тонкий и такой жалобный.

И опять, как в тот раз, когда Пик услыхал «соловья-разбойника» – жулана, мышонок не мог справиться с искушением послушать музыку ближе. Он вылез из-за сундука и уселся на полу среди комнаты.

На дудочке играл мальчик.

Девочка сидела рядом с ним и слушала. Она первая заметила мышонка.

Глаза у нее стали вдруг большие и темные. Она тихонько подтолкнула брата локтем и прошептала ему:

– Не шевелись!.. Видишь, Пик вышел. Играй, играй: он хочет слушать!

Брат продолжал дудеть.

Дети сидели смирно, боясь пошевелиться.

Мышонок слушал грустную песенку дудочки и как-то совсем забыл про опасность.

Он даже подошел к блюдцу и стал лакать молоко, точно в комнате никого не было. И скоро налакался так, что сам стал свистеть.

– Слышишь? – тихонько сказала девочка брату. – Он поет.

Пик опомнился только тогда, когда мальчик опустил дудочку. И сейчас же убежал за сундук.

Но теперь ребята знали, как приручить дикого мышонка.

Они тихонько дудели в дудочку. Пик выходил на середину комнаты, садился и слушал. А когда он сам начинал свистеть, у них получались настоящие концерты.

Хороший конец

Скоро мышонок так привык к ребятам, что совсем перестал их бояться. Он стал выходить без музыки. Девочка приучила его даже брать хлеб у нее из рук. Она садилась на пол, а он карабкался к ней на колени.

Ребята сделали ему маленький деревянный домик с нарисованными окнами и настоящими дверями. В этом домике он жил у них на столе. А когда выходил гулять, по старой привычке затыкал дверь всем, что попадалось ему на глаза: тряпочкой, мятой бумажкой, ватой.

Даже мальчик, который так не любил мышей, очень привязался к Пику. Больше всего ему нравилось, что мышонок ест и умывается передними лапками, как руками.

А сестренка очень любила слушать его тоненький-тоненький свист.

– Он хорошо поет, – говорила она брату, – он очень любит музыку.

Ей в голову не приходило, что мышонок пел совсем не для своего удовольствия. Она ведь не знала, какие опасности пережил маленький Пик и какое трудное путешествие он совершил, раньше чем попал к ней.

И хорошо, что оно так хорошо кончилось.

Аркадий Петрович Гайдар (Голиков) (1904 – 1941)

Чук и Гек

Жил человек в лесу возле Синих гор. Он много работал, а работы не убавлялось, и ему нельзя было уехать домой в отпуск.

Наконец, когда наступила зима, он совсем заскучал, попросил разрешения у начальников и послал своей жене письмо, чтобы она приезжала вместе с ребятишками к нему в гости.

Ребятишек у него было двое – Чук и Гек.

А жили они с матерью в далеком огромном городе, лучше которого и нет на свете.

Днем и ночью сверкали над башнями этого города красные звезды.

И, конечно, этот город назывался Москва.

Как раз в то время, когда почтальон с письмом поднимался по лестнице, у Чука с Геком был бой. Короче говоря, они просто выли и дрались.

Из-за чего началась эта драка, я уже позабыл. Но помнится мне, что или Чук стащил у Гека пустую спичечную коробку, или, наоборот, Гек стянул у Чука жестянку из-под ваксы.

Только что оба эти брата, стукнув по разу друг друга кулаками, собирались стукнуть по второму, как загремел звонок, и они с тревогой переглянулись. Они подумали, что пришла их мама! А у этой мамы был странный характер. Она не ругалась за драку, не кричала, а просто разводила драчунов по разным комнатам и целый час, а то и два не позволяла им играть вместе. А в одном часе – тик да так – целых шестьдесят минут. А в двух часах и того больше.

Вот почему оба брата мигом вытерли слезы и бросились открывать дверь.

Но, оказывается, это была не мать, а почтальон, который принес письмо.

Тогда они закричали:

– Это письмо от папы! Да, да, от папы! И он, наверное, скоро приедет.

Тут, на радостях, они стали скакать, прыгать и кувыркаться по пружинному дивану. Потому что хотя Москва и самый замечательный город, но когда папа вот уже целый год как не был дома, то и в Москве может стать скучно. И так они развеселились, что не заметили, как вошла их мать.

Она очень удивилась, увидав, что оба ее прекрасных сына, лежа на спинах, орут и колотят каблуками по стене, да так здорово, что трясутся картины над диваном и гудит пружина часов.

Но когда мать узнала, отчего такая радость, то сыновей не заругала. Она только турнула их с дивана.

Кое-как сбросила она шубку и схватила письмо, даже не стряхнув с волос снежинок, которые теперь растаяли и сверкали, как искры, над ее темными бровями.

Всем известно, что письма бывают веселые или печальные, и поэтому, пока мать читала, Чук и Гек внимательно следили за ее лицом.

Сначала мать нахмурилась, и они нахмурились тоже. Но потом она заулыбалась, и они решили, что это письмо веселое.

– Отец не приедет, – откладывая письмо, сказала мать. – У него еще много работы, и его в Москву не отпускают.

Обманутые Чук и Гек растерянно глянули друг на друга. Письмо оказалось самым что ни на есть распечальным.

Они разом надулись, засопели и сердито посмотрели на мать, которая неизвестно чему улыбалась.

– Он не приедет, – продолжала мать, – но он зовет нас всех к себе в гости.

Чук и Гек спрыгнули с дивана.

– Он чудак человек, – вздохнула мать. – Хорошо сказать – в гости! Будто бы это сел на трамвай и поехал…

– Да, да, – быстро подхватил Чук, – раз он зовет, так мы сядем и поедем.

– Ты глупый, – сказала мать. – Туда ехать тысячу и еще тысячу километров поездом. А потом в санях лошадьми через тайгу. А в тайге наткнешься на волка или на медведя. И что это за странная затея! Вы только подумайте сами!

– Гей-гей! – Чук и Гек не думали и полсекунды, а в один голос заявили, что они решили ехать не только тысячу, а даже сто тысяч километров. Им ничего не страшно. Они храбрые. И это они вчера прогнали камнями заскочившую во двор чужую собаку.

И так они говорили долго, размахивали руками, притопывали, подпрыгивали, а мать сидела молча, все их слушала, слушала. Наконец рассмеялась, схватила обоих на руки, завертела и свалила на диван.

Знайте, она давно уже ждала такого письма, и это она только нарочно поддразнивала Чука и Гека, потому что веселый у нее был характер.

Прошла целая неделя, прежде чем мать собрала их в дорогу, Чук и Гек времени даром не теряли тоже. Чук смастерил себе

кинжал из кухонного ножика, а Гек разыскал себе гладкую палку, забил в нее гвоздь, и получилась пика, до того крепкая, что если бы чем-нибудь проколоть шкуру медведя, а потом ткнуть этой пикой в сердце, то, конечно, медведь сдох бы сразу.

Наконец все дела были закончены. Уже запаковали багаж. Приделали второй замок к двери, чтобы не обокрали квартиру воры. Вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши. И вот мать уехала на вокзал покупать билеты на вечерний завтрашний поезд.

Но тут без нее у Чука с Геком получилась ссора.

Ах, если бы только знали они, до какой беды доведет их эта ссора, то ни за что бы в этот день не поссорились!

У запасливого Чука была плоская металлическая коробочка, в которой он хранил серебряные бумажки от чая, конфетные обертки (если там был нарисован танк, самолет или красноармеец), галчиные перья для стрел, конский волос для китайского фокуса и еще всякие очень нужные вещи.

У Гека такой коробочки не было. Да и вообще Гек был разиня, но зато он умел петь песни.

И вот как раз в то время, когда Чук шел доставать из укромного места свою драгоценную коробочку, а Гек в комнате пел песни, вошел почтальон и передал Чуку телеграмму для матери.

Чук спрятал телеграмму в свою коробочку и пошел узнавать, почему это Гек уже не поет песни, а кричит:

Р-ра! Р-ра! Ура!
Эй! Бей! Турумбей!

Чук с любопытством приоткрыл дверь и увидел такой «турумбей», что от злости у него затряслись руки.

Посреди комнаты стоял стул, а на спинке его висела вся истыканная пикой, разлохмаченная газета. И это ничего. Но проклятый Гек, вообразив, что перед ним туша медведя, яростно тыкал пикой в желтую картонку из-под маминых ботинок. А в картонке у Чука хранилась сигнальная жестяная дудка, три цветных значка от Октябрьских праздников и деньги – сорок шесть копеек, которые он не истратил, как Гек, на разные глупости, а запасливо приберег в дальнюю дорогу.

И, увидав продырявленную картонку, Чук вырвал у Гека пику, переломил ее о колено и швырнул на пол.

Но, как ястреб, налетел Гек на Чука и выхватил у него из рук металлическую коробку. Одним махом взлетел на подоконник и выкинул коробку через открытую форточку.

Громко завопил оскорбленный Чук и с криком: «Телеграмма! Телеграмма!» – в одном пальто, без калош и шапки, выскочил за дверь.

Почуяв неладное, вслед за Чуком понесся Гек.

Но напрасно искали они металлическую коробочку, в которой лежала еще никем не прочитанная телеграмма.

То ли она попала в сугроб и теперь лежала глубоко под снегом, то ли она упала на тропку и ее утянул какой-либо прохожий, но так или иначе вместе со всем добром и нераспечатанной телеграммой коробка навеки пропала.

Вернувшись домой, Чук и Гек долго молчали. Они уже помирились, так как знали, что попадет им от матери обоим. Но так как Чук был на целый год старше Гека, то, опасаясь, как бы ему не попало больше, он придумал:

– Знаешь, Гек, а что, если мы маме про телеграмму ничего не скажем? Подумаешь – телеграмма! Нам и без телеграммы весело.

– Врать нельзя, – вздохнул Гек. – Мама за вранье всегда еще хуже сердится.

– А мы не будем врать! – радостно воскликнул Чук. – Если она спросит, где телеграмма, – мы скажем. Если же не спросит, то зачем нам вперед выскакивать? Мы не выскочки.

– Ладно, – согласился Гек. – Если врать не надо, то так и сделаем. Это ты хорошо, Чук, придумал.

И только что они на этом порешили, как вошла мать. Она была довольна, потому что достала хорошие билеты на поезд, но все же она сразу заметила, что у ее дорогих сыновей лица печальны, а глаза заплаканы.

– Отвечайте, граждане, – отряхиваясь от снега, спросила мать, – из-за чего без меня была драка?

– Драки не было, – отказался Чук.

– Не было, – подтвердил Гек. – Мы только хотели подраться, да сразу раздумали.

– Очень я люблю такое раздумье, – сказала мать.

Она разделась, села на диван и показала им твердые зеленые билеты: один билет большой и два маленьких. Вскоре они поужинали, а потом утих стук, погас свет, и все уснули.

А про телеграмму мать ничего не знала, поэтому, конечно, ничего не спросила.

Назавтра они уехали. Но так как поезд уходил очень поздно, то сквозь черные окна Чук и Гек при отъезде ничего интересного не увидели.

Ночью Гек проснулся, чтобы напиться. Лампочка на потолке была потушена, однако все вокруг Гека было озарено голубым

светом: и вздрагивающий стакан на покрытом салфеткой столике, и желтый апельсин, который казался теперь зеленоватым, и лицо мамы, которая, покачиваясь, спала крепко-крепко. Через снежное узорное окно вагона Гек увидел луну, да такую огромную, какой в Москве и не бывает. И тогда он решил, что поезд уже мчится по высоким горам, откуда до луны ближе.

Он растолкал маму и попросил напиться. Но пить ему она по одной причине не дала, а велела отломить и съесть дольку апельсина.

Гек обиделся, дольку отломил, но спать ему уже не захотелось. Он потолкал Чука – не проснется ли? Чук сердито фыркнул и не просыпался.

Тогда Гек надел валенки, приоткрыл дверь и вышел в коридор.

Коридор вагона был узкий и длинный. Возле наружной стены его были приделаны складные скамейки, которые сами с треском захлопывались, если с них слезешь. Сюда же, в коридор, выходило еще десять дверей. И все двери были блестящие, красные, с желтыми золочеными ручками.

Гек посидел на одной скамейке, потом на другой, на третьей и так добрался почти до конца вагона. Но тут прошел проводник с фонарем и пристыдил Гека, что люди спят, а он скамейками хлопает.

Проводник ушел, а Гек поспешно направился к себе в купе. Он с трудом приоткрыл дверь. Осторожно, чтобы не разбудить маму, закрыл и кинулся на мягкую постель.

А так как толстый Чук развалился во всю ширь, то Гек бесцеремонно ткнул его кулаком, чтобы тот подвинулся.

Но тут случилось нечто страшное: вместо белобрысого круглоголового Чука на Гека глянуло сердитое усатое лицо какого-то дядьки, который строго спросил:

– Это кто же здесь толкается?

Тогда Гек завопил что было мочи. Перепуганные пассажиры повскакали со всех полок, вспыхнул свет, и, увидев, что он попал не в свое купе, а в чужое, Гек заорал еще громче.

Но все люди быстро поняли, в чем дело, и стали смеяться. Усатый дядька надел брюки, военную гимнастерку и отвел Гека на место.

Гек проскользнул под свое одеяло и притих. Вагон покачивало, шумел ветер.

Невиданная огромная луна опять озаряла голубым светом вздрагивающий стакан, оранжевый апельсин на белой салфетке и лицо матери, которая во сне чему-то улыбалась и совсем не знала, какая беда приключилась с ее сыном.

Наконец заснул и Гек.

…И снился Геку странный сон:
Как будто ожил весь вагон,
Как будто слышны голоса
От колеса до колеса.
Бегут вагоны – длинный ряд —
И с паровозом говорят.
Первый. Вперед, товарищ! Путь далек
Перед тобой во мраке лег.
Второй. Светите ярче, фонари,
До самой утренней зари!
Третий. Гори, огонь! Труби, гудок!
Крутись, колеса, на Восток!
Четвертый. Тогда закончим разговор,
Когда домчим до Синих гор.

Когда Гек проснулся, колеса, уже без всяких разговоров, мерно постукивали под полом вагона. Сквозь морозные окна светило солнце. Постели были заправлены. Умытый Чук грыз яблоко. А мама и усатый военный против распахнутых дверей хохотали над ночными похождениями Гека. Чук сразу же показал Геку карандаш с наконечником из желтого патрона, который он получил в подарок от военного.

Но Гек до вещей был не завистлив и не жаден. Он, конечно, был растеря и разиня. Мало того, что он ночью забрался в чужое купе, – вот и сейчас он не мог вспомнить, куда засунул свои брюки. Но зато Гек умел петь песни.

Умывшись и поздоровавшись с мамой, он прижался лбом к холодному стеклу и стал смотреть, что это за край, как здесь живут и что делают люди.

И пока Чук ходил от дверей к дверям и знакомился с пассажирами, которые охотно дарили ему всякую ерунду – кто резиновую пробку, кто гвоздь, кто кусок крученой бечевки, – Гек за это время увидел через окно немало.

Вот лесной домик. В огромных валенках, в одной рубашке и с кошкой в руках выскочил на крыльцо мальчишка. Трах! – кошка кувырком полетела в пушистый сугроб и, неловко карабкаясь, запрыгала по рыхлому снегу. Интересно, за что это он ее бросил? Вероятно, что-нибудь со стола стянула.

Но уже нет ни домика, ни мальчишки, ни кошки – стоит в поле завод. Поле белое, трубы красные. Дым черный, а свет желтый. Интересно, что на этом заводе делают? Вот будка, и, укутанный в тулуп, стоит часовой. Часовой в тулупе огромный,

широкий, и винтовка его кажется тоненькой, как соломинка. Однако попробуй-ка, сунься!

Потом пошел танцевать лес. Деревья, что были поближе, прыгали быстро, а дальние двигались медленно, как будто их тихо кружила славная снежная река.

Гек окликнул Чука, который возвращался в купе с богатой добычей, и они стали смотреть вместе.

Встречались на пути станции большие, светлые, на которых шипело и пыхтело сразу штук по сто паровозов; встречались станции и совсем крохотные – ну, право, не больше того продуктового ларька, что торговал разной мелочью на углу возле их московского дома.

Проносились навстречу поезда, груженные рудой, углем и громадными, толщиной в полвагона, бревнами.

Нагнали они эшелон с быками и коровами. Паровозишко у этого эшелона был невзрачный, и гудок у него тонкий, писклявый, а тут как один бык рявкнул: му-у!.. Даже машинист обернулся и, наверное, подумал, что это его большой паровоз нагоняет.

А на одном разъезде бок о бок остановились они рядом с могучим железным бронепоездом. Грозно торчали из башен укутанные брезентом орудия. Красноармейцы весело топали, смеялись и, хлопая варежками, отогревали руки.

Но один человек в кожанке стоял возле бронепоезда молчалив и задумчив. И Чук с Геком решили, что это, конечно, командир, который стоит и ожидает, не придет ли приказ от Ворошилова открыть против врагов бой.

Да, немало всякого они за дорогу повидали. Жаль только, что на дворе бушевали метели и окна вагона часто бывали наглухо залеплены снегом.

И вот наконец утром поезд подкатил к маленькой станции.

Только-только мать успела ссадить Чука с Геком и принять от военного вещи, как поезд умчался.

Чемоданы были свалены на снег. Деревянная платформа вскоре опустела, а отец встречать так и не вышел.

Тогда мать на отца рассердилась и, оставив детей караулить вещи, пошла к ямщикам узнавать, какие за ними отец прислал сани, потому что до того места, где он жил, оставалось ехать еще километров сто тайгою.

Мать ходила очень долго, а тут еще неподалеку появился страшенный козел. Сначала он глодал кору с замороженного бревна, но потом противно мемекнул и что-то очень пристально стал на Чука с Геком поглядывать.

Тогда Чук и Гек поспешно укрылись за чемоданами, потому

что кто его знает, что в этих краях козлам надо.

Но вот вернулась мать. Она была совсем опечалена и объяснила, что, вероятно, отец телеграмму о их выезде не получил и поэтому лошадей на станцию он за ними не прислал.

Тогда они позвали ямщика. Ямщик длинным кнутом огрел козла по спине, забрал вещи и понес их в буфет вокзала.

Буфет был маленький. За стойкой пыхтел толстый, ростом с Чука, самовар. Он дрожал, гудел, и густой пар его, как облако, поднимался к бревенчатому потолку, под которым чирикали залетевшие погреться воробьи.

Пока Чук с Геком пили чай, мать торговалась с ямщиком: сколько он возьмет, чтобы довезти их в лес до места. Ямщик просил очень много – целых сто рублей. Да и то сказать: дорога и на самом деле была не ближняя. Наконец они договорились, и ямщик побежал домой за хлебом, за сеном и за теплыми тулупами.

– Отец и не знает, что мы уже приехали, – сказала мать. – То-то он удивится и обрадуется!

– Да, он обрадуется, – прихлебывая чай, важно подтвердил Чук. – И я удивлюсь и обрадуюсь тоже.

– И я тоже, – согласился Гек. – Мы подъедем тихонько, и если папа куда-нибудь вышел из дома, то мы чемоданы спрячем, а сами залезем под кровать. Вот он приходит. Сел. Задумался. А мы молчим, молчим, да вдруг как завоем!

– Я под кровать не полезу, – отказалась мать, – и выть не буду тоже. Лезьте и войте сами… Зачем ты, Чук, сахар в карман прячешь? И так у тебя карманы полны, как мусорный ящик.

– Я лошадей кормить буду, – спокойно объяснил Чук. – Забирай, Гек, и ты кусок ватрушки. А то у тебя никогда ничего нет. Только и знаешь у меня выпрашиваешь!

Вскоре пришел ямщик. Уложили в широкие сани багаж, взбили сено, укутались одеялами, тулупами.

Прощайте, большие города, заводы, станции, деревни, поселки! Теперь впереди только лес, горы и опять густой, темный лес.

…Почти до сумерек, охая, ахая и дивясь на дремучую тайгу, они проехали незаметно. Но вот Муку, которому из-за спины ямщика плохо была видна дорога, стало скучно. Он попросил у матери пирожка или булки. Но ни пирожка, ни булки мать ему, конечно, не дала. Тогда он насупился и от нечего делать стал толкать Гека и отжимать его к краю.

Сначала Гек терпеливо отпихивался. Потом вспылил и плюнул на Чука. Чук обозлился и кинулся в драку. Но так как руки их были стянуты тяжелыми меховыми тулупами, то они

ничего не могли поделать, кроме как стукать друг друга укутанными в башлыки лбами.

Посмотрела на них мать и рассмеялась. А тут ямщик ударил кнутом по коням – и рванули кони. Выскочили на дорогу и затанцевали два белых пушистых зайца. Ямщик закричал:

– Эй, эй! Ого-го!.. Берегись: задавим!

Весело умчались в лес озорные зайцы. Дул в лицо свежий ветер. И, поневоле прижавшись друг к другу, Чук и Гек помчались в санях под гору навстречу тайге и навстречу луне, которая медленно выползала из-за уже недалеких Синих гор.

Но вот безо всякой команды кони стали возле маленькой, занесенной снегом избушки.

– Здесь ночуем, – сказал ямщик, соскакивая в снег. – Это наша станция.

Избушка была маленькая, но крепкая. Людей в ней не было.

Быстро вскипятил ямщик чайник; принесли из саней сумку с продуктами.

Колбаса до того замерзла и затвердела, что ею можно было забивать гвозди. Колбасу ошпарили кипятком, а куски хлеба положили на горячую плиту.

За печкой Чук нашел какую-то кривую пружину, и ямщик сказал ему, что это пружина от капкана, которым ловят всякого зверя. Пружина была ржавая и валялась без дела. Это Чук сообразил сразу.

Попили чаю, поели и легли спать. У стены стояла широкая деревянная кровать. Вместо матраца на ней были навалены сухие листья.

Гек не любил спать ни у стены, ни посредине. Он любил спать с краю. И хотя еще с раннего детства он слыхал песню «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю», Гек все равно всегда спал с краю.

Если же его клали в середку, то во сне он сбрасывал со всех одеяла, отбивался локтями и толкал Чука в живот коленом.

Не раздеваясь и укрывшись тулупами, они улеглись: Чук у стенки, мать посредине, а Гек с краю.

Ямщик потушил свечку и полез на печь. Разом все уснули. Но, конечно, как и всегда, ночью Геку захотелось пить, и он проснулся.

В полумраке он надел валенки, добрался до стола, глотнул воды из чайника и сел перед окном на табуретку.

Луна была за тучами, и сквозь маленькое окошко сугробы снега казались черно-синими.

«Вот как далеко занесло нашего папу!» – удивился Гек. И он подумал, что, наверное, дальше, чем это место, уже и немного

осталось мест на свете.

Но вот Гек прислушался. За окном ему почудился стук. Это был даже не стук, а скрип снега под чьими-то тяжелыми шагами. Так и есть! Вот во тьме что-то тяжело вздохнуло, зашевелилось, заворочалось, и Гек понял, что это мимо окна прошел медведь.

– Злобный медведь, что тебе надо? Мы так долго едем к папе, а ты хочешь нас сожрать, чтобы мы его никогда не увидели?.. Нет, уходи прочь, пока люди не убили тебя метким ружьем или острой саблей!

Так думал и бормотал Гек, а сам со страхом и любопытством крепче и крепче прижимался лбом к обледенелому стеклу узкого окошка.

Но вот из-за быстрых туч стремительно выкатилась луна. Черно-синие сугробы засверкали мягким матовым блеском, и Гек увидел, что медведь этот вовсе не медведь, а просто отвязавшаяся лошадь ходит вокруг саней и ест сено.

Было досадно. Гек залез на кровать под тулуп, а так как только что он думал о нехорошем, то и сон к нему пришел угрюмый.

Приснился Геку странный сон:
Как будто страшный Турворон
Плюет слюной, как кипятком,
Грозит железным кулаком.
Кругом пожар! В снегу следы!
Идут солдатские ряды.
И волокут из дальних мест
Кривой фашистский флаг и крест.

– Постойте! – закричал им Гек. – Вы не туда идете! Здесь нельзя!

Но никто не постоял, и его, Гека, не слушали.

В гневе тогда выхватил Гек жестяную сигнальную дуду, ту, что лежала у Чука в картонке из-под ботинок, и загудел так громко, что быстро поднял голову задумчивый командир железного бронепоезда, властно махнул рукой – и разом ударили залпом его тяжелые и грозные орудия.

– Хорошо! – похвалил Гек. – Только стрельните еще, а то одного раза им, наверное, мало…

Мать проснулась оттого, что оба ее дорогих сына с двух сторон нестерпимо толкались и ворочались.

Она повернулась к Чуку и почувствовала, как в бок ей ткнуло что-то твердое и острое. Она пошарила и достала из-под одеяла пружину от капкана, которую запасливый Чук тайно притащил с

собой в постель.

Мать швырнула пружину за кровать. При свете луны она заглянула в лицо Геку и поняла, что ему снится тревожный сон.

Сон, конечно, не пружина, и его нельзя выкинуть. Но его можно потушить. Мать повернула Гека со спины на бок и, покачивая, тихонько подула на его теплый лоб.

Вскоре Гек засопел, улыбнулся, и это означало, что плохой сон погас. Тогда мать встала и в чулках, без валенок, подошла к окошку.

Еще не светало, и небо было все в звездах. Иные звезды горели высоко, а иные склонялись над черной тайгой совсем низко.

И – удивительное дело! – тут же и так же, как маленький Гек, она подумала, что дальше, чем это место, куда занесло ее беспокойного мужа, наверное, и немного осталось мест на свете.

Весь следующий день дорога шла лесом и горами. На подъемах ямщик соскакивал с саней и шел по снегу рядом. Но зато на крутых спусках сани мчались с такой быстротой, что Чуку с Геком казалось, будто бы они вместе с лошадьми и санями проваливаются на землю прямо с неба.

Наконец под вечер, когда и люди и кони уже порядком устали, ямщик сказал:

– Ну, вот и приехали! За этим мыском поворот. Тут, на поляне, и стоит ихняя база… Эй, но-но!.. Наваливай!

Весело взвизгнув, Чук и Гек вскочили, но сани дернули, и они дружно плюхнулись в сено.

Улыбающаяся мать скинула шерстяной платок и осталась в пушистой шапке.

Вот и поворот. Сани лихо развернулись и подкатили к трем домишкам, которые торчали на небольшой, укрытой от ветров опушке.

Очень странно! Не лаяли собаки, не было видно людей. Не валил дым из печных труб. Все дорожки были занесены глубоким снегом, а кругом стояла тишина, как зимой на кладбище. И только белобокие сороки бестолково скакали с дерева на дерево.

– Ты куда же нас привез? – в страхе спросила у ямщика мать. – Разве нам сюда надо?

– Куда рядились, туда и привез, – ответил ямщик. – Вот эти дома называются «Разведывательно-геологическая база номер три». Да вот и вывеска на столбе… Читайте. Может быть, вам нужна база под названием номер четыре? Так то километров двести совсем в иную сторону.

– Нет, нет! – взглянув на вывеску, ответила мать. – Нам нужна эта самая. Но ты посмотри: двери на замках, крыльцо в снегу, а

куда же девались люди?

– Я не знаю, куда б им деваться, – удивился и сам ямщик. – На прошлой неделе мы сюда продукт возили: муку, лук, картошку. Все люди тут были: восемь человек, начальник девятый, со сторожем десять… Вот еще забота! Не волки же их всех поели… Да вы постойте, я пойду посмотрю в сторожку.

И, сбросив тулуп, ямщик зашагал через сугробы к крайней избушке.

Вскоре он вернулся:

– Изба пустая, а печка теплая. Значит, здесь сторож, да, видать, ушел на охоту. Ну, к ночи вернется и все вам расскажет.

– Да что он мне расскажет! – ахнула мать. – Я и сама вижу, что людей здесь уже давно нету.

– Это я уж не знаю, что он расскажет, – ответил ямщик. – А что-нибудь рассказать должен, на то он и сторож.

С трудом подъехали они к крыльцу сторожки, от которого к лесу вела узенькая тропка.

Они вошли в сени и мимо лопат, метел, топоров, палок, мимо промерзлой медвежьей шкуры, что висела на железном крюку, прошли в избушку. Вслед за ними ямщик тащил вещи.

В избушке было тепло. Ямщик пошел задавать лошадям корм, а мать молча раздевала перепуганных ребятишек.

– Ехали к отцу, ехали – вот тебе и приехали!

Мать села на лавку и задумалась. Что случилось, почему на базе пусто и что теперь делать? Ехать назад? Но у нее денег оставалось только-только заплатить ямщику за дорогу. Значит, надо было ожидать, когда вернется сторож. Но ямщик через три часа уедет обратно, а вдруг сторож возьмет да не скоро вернется? Тогда как? А ведь отсюда до ближайшей станции и телеграфа почти сто километров!

Вошел ямщик. Оглядев избу, он потянул носом воздух, подошел к печке и открыл заслонку.

– Сторож к ночи вернется, – успокоил он. – Вот в печи горшок со щами. Кабы он ушел надолго, он бы щи на холод вынес… А то как хотите, – предложил ямщик. – Раз уж такое дело, то я не чурбак. Я вас назад до станции бесплатно доставлю.

– Нет, – отказалась мать. – На станции нам делать нечего.

Опять поставили чайник, подогрели колбасу, поели, попили, и, пока мать разбирала вещи, Чук с Геком забрались на теплую печку. Здесь пахло березовыми вениками, горячей овчиной и сосновыми щепками. А так как расстроенная мать была молчалива, то Чук с Геком молчали тоже. Но долго молчать не намолчишься, и поэтому, не найдя себе никакого дела, Чук и Гек быстро и крепко уснули.

Они не слышали, как уехал ямщик и как мать, забравшись на печку, улеглась с ними рядом. Они проснулись уже тогда, когда в избе было совсем темно. Проснулись все разом, потому что на крыльце послышался топот, потом что-то в сенях загрохотало – должно быть, упала лопата. Распахнулась дверь, и с фонарем в руках в избу вошел сторож, а с ним большая лохматая собака. Он скинул с плеча ружье, бросил на лавку убитого зайца и, поднимая фонарь к печке, спросил:

– Это что же за гости сюда приехали?

– Я жена начальника геологической партии Серегина, – сказала мать, соскакивая с печи, – а это его дети. Если нужно, то вот документы.

– Вот они, документы: сидят на печке, – буркнул сторож и посветил фонарем на встревоженные лица Чука и Гека. – Как есть в отца – копия! Особо вот этот толстый. – И он ткнул на Чука пальцем.

Чук и Гек обиделись: Чук – потому, что его назвали толстым, а Гек – потому, что он всегда считал себя похожим на отца больше, чем Чук.

– Вы зачем, скажите, приехали? – глянув на мать, спросил сторож. – Вам же приезжать было не велено.

– Как не велено? Кем это приезжать не велено?

– А так и не велено. Я сам на станцию возил от Серегина телеграмму, а в телеграмме ясно написано: «Задержись выезжать на две недели. Наша партия срочно выходит в тайгу». Раз Серегин пишет «задержись» – значит, и надо было задержаться, а вы самовольничаете.

– Какую телеграмму? – переспросила мать. – Мы никакой телеграммы не получали. – И, как бы ища поддержки, она растерянно глянула на Чука и Гека.

Но под ее взглядом Чук и Гек, испуганно тараща друг на друга глаза, поспешно попятились глубже на печку.

– Дети, – подозрительно глянув на сыновей, спросила мать, – вы без меня никакой телеграммы не получали?

На печке захрустели сухие щепки, веники, но ответа на вопрос не последовало.

– Отвечайте, мучители! – сказала тогда мать. – Вы, наверное, без меня получили телеграмму и мне ее не отдали?

Прошло еще несколько секунд, потом с печки раздался ровный и дружный рев. Чук затянул басовито и однотонно, а Гек выводил потоньше и с переливами.

– Вот где моя погибель! – воскликнула мать. – Вот кто, конечно, сведет меня в могилу! Да перестаньте вы гудеть и расскажите толком, как было дело.

Однако, услыхав, что мать собирается идти в могилу, Чук с Геком взвыли еще громче, и прошло немало времени, пока, перебивая и бесстыдно сваливая вину друг на друга, они затянули свой печальный рассказ.

Ну что с таким народом будешь делать? Поколотить их палкой? Посадить в тюрьму? Заковать в кандалы и отправить на каторгу? Нет, ничего этого мать не сделала. Она вздохнула, приказала сыновьям слезть с печки, вытереть носы и умыться, а сама стала спрашивать сторожа, как же ей теперь быть и что делать.

Сторож сказал, что разведывательная партия по срочному приказу ушла к ущелью Алкараш и вернется никак не раньше чем дней через десять.

– Но как же мы эти десять дней жить будем? – спросила мать. – Ведь у нас с собой нет никакого запаса.

– А так вот и живите, – ответил сторож. – Хлеба я вам дам, вон подарю зайца – обдерете и сварите. А я завтра на двое суток в тайгу уйду, мне капканы проверять надо.

– Нехорошо, – сказала мать. – Как же мы останемся одни? Мы тут ничего не знаем. А здесь лес, звери…

– Я второе ружье оставлю, – сказал сторож. – Дрова под навесом, вода в роднике за пригорком. Вон крупа в мешке, соль в банке. А мне – я вам прямо скажу – нянчиться с вами тоже некогда…

– Эдакий злой дядька! – прошептал Гек. – Давай, Чук, мы с тобой ему что-нибудь скажем.

– Вот еще! – отказался Чук. – Он тогда возьмет и вовсе нас из дому выгонит. Ты погоди, приедет папа, мы ему все и расскажем.

– Что ж папа! Папа еще долго…

Гек подошел к матери, сел к ней на колени и, сдвинув брови, строго посмотрел в лицо грубому сторожу.

Сторож снял меховой кожух и подвинулся к столу, к свету. И только тут Гек разглядел, что от плеча к спине кожуха вырван огромный, почти до пояса, меховой клок.

– Достань из печки щи, – сказал матери сторож. – Вон на полке ложки, миски, садитесь и ешьте. А я шубу чинить буду.

– Ты хозяин, – сказала мать. – Ты достань, ты и угощай. А полушубок дай: я лучше твоего заплатаю.

Сторож поднял на нее глаза и встретил суровый взгляд Гека.

– Эге! Да вы, я вижу, упрямые, – пробурчал он, протянул матери полушубок и полез за посудой на полку.

– Это где так разорвалось? – спросил Чук, указывая на дыру кожуха.

– С медведем не поладили. Вот он меня и царапнул, – нехотя

ответил сторож и бухнул на стол тяжелый горшок со щами.

– Слышишь, Гек? – сказал Чук, когда сторож вышел в сени. – Он подрался с медведем и, наверное, от этого сегодня такой сердитый.

Гек слышал все сам. Но он не любил, чтобы кто-либо обижал его мать, хотя бы это и был человек, который мог поссориться и подраться с самим медведем.

Утром, еще на заре, сторож захватил с собой мешок, ружье, собаку, стал на лыжи и ушел в лес. Теперь хозяйничать надо было самим. Втроем ходили они за водой. За пригорком из отвесной скалы среди снега бил ключ. От воды, как из чайника, шел густой пар, но когда Чук подставил под струю палец, то оказалось, что вода холодней самого мороза.

Потом они таскали дрова. Русскую печь мать топить не умела, и поэтому дрова долго не разгорались. Но зато когда разгорелись, то пламя запылало так жарко, что толстый лед на окне у противоположной стенки быстро растаял. И теперь через стекло видна была и вся опушка с деревьями, по которым скакали сороки, и скалистые вершины Синих гор.

Кур мать потрошить умела, но обдирать зайца ей еще не приходилось, и она с ним провозилась столько, что за это время можно было ободрать и разделать быка или корову.

Геку это обдирание ничуть не понравилось, но Чук помогал охотно, и за это ему достался зайчиный хвост, такой легкий и пушистый, что если его бросать с печки, то он падал на пол плавно, как парашют.

После обеда они все втроем вышли гулять.

Чук уговаривал мать, чтобы она взяла с собой ружье или хотя бы ружейные патроны. Но мать ружья не взяла. Наоборот, она нарочно повесила ружье на высокий крюк, потом встала на табуретку, засунула патроны на верхнюю полку и предупредила Чука, что если он попробует стянуть хоть один патрон с полки, то на хорошую жизнь пусть больше не надеется.

Чук покраснел и поспешно удалился, потому что один патрон уже лежал у него в кармане.

Удивительная это была прогулка! Они шли гуськом к роднику по узенькой тропке. Над ними сияло холодное голубое небо; как сказочные за́мки и башни, поднимались к небу остроконечные утесы Синих гор. В морозной тишине резко стрекотали любопытные сороки. Между густых кедровых ветвей бойко прыгали серые юркие белки. Под деревьями, на мягком белом снегу отпечатались причудливые следы незнакомых зверей и птиц.

Вот в тайге что-то застонало, загудело, треснуло. Должно быть, ломая сучья, обвалилась с вершины дерева гора обледенелого снега.

Раньше, когда Гек жил в Москве, ему представлялось, что вся земля состоит из Москвы, то есть из улиц, домов, трамваев и автобусов. Теперь же ему казалось, что вся земля состоит из высокого дремучего леса.

Да и вообще, если над Геком светило солнце, то он был уверен, что и над всей землей ни дождя, ни туч нету.

И если было весело, то он думал, что и всем на свете людям хорошо и весело тоже.

Прошло два дня, наступил третий, а сторож из леса не возвращался, и тревога нависла над маленьким, занесенным снегом домиком.

Особенно страшно было по вечерам и ночами. Они крепко запирали сени, двери и, чтобы не привлечь зверей светом, наглухо занавешивали половиком окна, хотя надо было делать совсем наоборот, потому что зверь – не человек и он огня боится. Над печной трубой, как и полагается, гудел ветер, а когда вьюга хлестала острыми снежными льдинками по стене и окнам, то всем казалось, что снаружи кто-то толкается и царапается.

Они забрались спать на печку, и там мать долго рассказывала им разные истории и сказки. Наконец она задремала.

– Чук, – спросил Гек, – почему волшебники бывают в разных историях и сказках? А что, если бы они были и на самом деле?

– И ведьмы и черти чтоб были тоже? – спросил Чук.

– Да нет! – с досадой отмахнулся Гек. – Чертей не надо. Что с них толку? А мы бы попросили волшебника, он слетал бы к папе и сказал бы ему, что мы уже давно приехали.

– А на чем бы он полетел, Гек?

– Ну, на чем… Замахал бы руками или там еще как. Он уж сам знает.

– Сейчас руками махать холодно, – сказал Чук. – У меня вон какие перчатки да варежки, да и то, когда я тащил полено, у меня пальцы совсем замерзли.

– Нет, ты скажи, Чук, а все-таки хорошо бы?

– Я не знаю, – заколебался Чук. – Помнишь, во дворе, в подвале, где живет Мишка Крюков, жил какой-то хромой. То он торговал баранками, то к нему приходили всякие бабы, старухи, и он им гадал, кому будет жизнь счастливая и кому несчастная.

– И хорошо он нагадывал?

– Я не знаю. Я знаю только, что потом пришла милиция, его забрали, а из его квартиры много чужого добра вытащили.

– Так он, наверное, был не волшебник, а жулик. Ты как

думаешь?

– Конечно, жулик, – согласился Чук. – Да, я так думаю, и все волшебники должны быть жуликами. Ну, скажи, зачем ему работать, раз он и так во всякую дыру пролезть может? Знай только хватай, что надо… Ты бы лучше спал, Гек, все равно я с тобой больше разговаривать не буду.

– Почему?

– Потому что ты городишь всякую ерунду, а ночью она тебе приснится, ты и начнешь локтями да коленями дрыгать. Думаешь, хорошо, как ты мне вчера кулаком в живот бухнул? Дай-ка я тебе бухну тоже…

Наутро четвертого дня матери самой пришлось колоть дрова. Заяц был давно съеден, и кости его расхватаны сороками. На обед они варили только кашу с постным маслом и луком. Хлеб был на исходе, но мать нашла муку и испекла лепешек.

После такого обеда Гек был грустен, и матери показалось, что у него повышена температура.

Она приказала ему сидеть дома, одела Чука, взяла ведра, салазки, и они вышли, чтобы привезти воды и заодно набрать на опушке сучьев и веток – тогда утром легче будет растапливать печку.

Гек остался один. Он ждал долго. Ему стало скучно, и он начал что-то придумывать.

…А мать и Чук задержались. На обратном пути к дому санки перевернулись, ведра опрокинулись, и пришлось ехать к роднику снова. Потом выяснилось, что Чук на опушке позабыл теплую варежку, и с полпути пришлось возвращаться. Пока искали, пока то да се, наступили сумерки.

Когда они вернулись домой, Гека в избе не было. Сначала они подумали, что Гек спрятался на печке за овчинами. Нет, там его не было.

Тогда Чук хитро улыбнулся и шепнул матери, что Гек, конечно, залез под печку.

Мать рассердилась и приказала Геку вылезать. Гек не откликался.

Тогда Чук взял длинный ухват и стал им под печкой ворочать. Но и под печкой Гека не было.

Мать встревожилась, взглянула на гвоздь у двери. Ни полушубок Гека, ни шапка на гвозде не висели.

Мать вышла во двор, обошла кругом избушку. Зашла в сени, зажгла фонарь. Заглянула в темный чулан, под навес с дровами…

Она звала Гека, ругала, упрашивала, но никто не отзывался.

А темнота быстро ложилась на сугробы.

Тогда мать заскочила в избу, сдернула со стены ружье, достала патроны, схватила фонарь и, крикнув Чуку, чтобы он не смел двигаться с места, выбежала во двор.

Следов за четыре дня было натоптано немало.

Где искать Гека, мать не знала, но она побежала к дороге, так как не верила, чтобы Гек один мог осмелиться зайти в лес.

На дороге было пусто.

Она зарядила ружье и выстрелила. Прислушалась, выстрелила еще и еще раз.

Вдруг совсем неподалеку ударил ответный выстрел. Кто-то спешил ей на помощь.

Она хотела бежать навстречу, но ее валенки увязли в сугробе. Фонарь попал в снег, стекло лопнуло, и свет погас.

С крыльца сторожки раздался пронзительный крик Чука.

Это, услыхав выстрелы, Чук решил, что волки, которые сожрали Гека, напали на его мать.

Мать отбросила фонарь и, задыхаясь, побежала к дому. Она втолкнула раздетого Чука в избу, швырнула ружье в угол и, зачерпнув ковшом, глотнула ледяной воды.

У крыльца раздался гром и стук. Распахнулась дверь. В избу влетела собака, а за ней вошел окутанный паром сторож.

– Что за беда? Что за стрельба? – спросил он, не здороваясь и не раздеваясь.

– Пропал мальчик, – сказала мать. Слезы ливнем хлынули из ее глаз, и она больше не могла сказать ни слова.

– Стой, не плачь! – гаркнул сторож. – Когда пропал? Давно? Недавно?.. Назад, Смелый! – крикнул он собаке. – Да говорите же, или я уйду обратно!

– Час тому назад, – ответила мать. – Мы ходили за водой. Мы пришли, а его нет. Он оделся и куда-то ушел.

– Ну, за час он далеко не уйдет, а в одеже и в валенках сразу не замерзнет… Ко мне, Смелый! На, нюхай!

Сторож сдернул с гвоздя башлык и подвинул под нос собаки калоши Гека.

Собака внимательно обнюхала вещи и умными глазами посмотрела на хозяина.

– За мной! – распахивая дверь, сказал сторож. – Иди ищи, Смелый!

Собака вильнула хвостом и осталась стоять на месте.

– Вперед! – строго повторил сторож. – Ищи, Смелый, ищи!

Собака беспокойно крутила носом, переступала с ноги на ногу и не двигалась.

– Это еще что за танцы? – рассердился сторож. И, опять сунув

собаке под нос башлык и калоши Гека, он дернул ее за ошейник.

Однако Смелый за сторожем не пошел: он покрутился, повернулся и пошел в противоположный от двери угол избы.

Здесь он остановился около большого деревянного сундука, царапнул по крышке мохнатой лапой и, обернувшись к хозяину, три раз громко и лениво гавкнул.

Тогда сторож сунул ружье в руки оторопелой матери, подошел и открыл крышку сундука.

В сундуке, на куче всякого тряпья, овчин, мешков, укрывшись своей шубенкой и положив под голову шапку, крепко и спокойно спал Гек.

Когда его вытащили и разбудили, то, хлопая сонными глазами, он никак не мог понять, отчего это вокруг него такой шум и такое буйное веселье. Мать целовала его и плакала. Чук дергал его за руки, за ноги, подпрыгивал и кричал:

– Эй, ля! Эй-ли-ля!..

Лохматый пес Смелый, которого Чук поцеловал в морду, сконфуженно обернулся и, тоже ничего не понимая, тихонько вилял серым хвостом, умильно поглядывая на лежавшую на столе краюху хлеба.

Оказывается, когда мать и Чук ходили за водой, то соскучившийся Гек решил пошутить. Он забрал полушубок, шапку и залез в сундук. Он решил, что когда они вернутся и станут его искать, то он из сундука страшно завоет. Но так как мать и Чук ходили очень долго, то он лежал, лежал и незаметно заснул.

Вдруг сторож встал, подошел и брякнул на стол тяжелый ключ и измятый голубой конверт.

– Вот, – сказал он, – получайте. Это вам ключ от комнаты и от кладовой и письмо от начальника Серегина. Он с людьми здесь будет через четверо суток, как раз к Новому году.

Так вот он где пропадал, этот неприветливый, хмурый старик! Сказал, что идет на охоту, а сам бегал на лыжах к далекому ущелью Алкараш.

Не распечатывая письма, мать встала и с благодарностью положила старику на плечо руку.

Он ничего не ответил и стал ворчать на Гека за то, что тот рассыпал в сундуке коробку с пыжами, а заодно и на мать – за то, что она разбила стекло у фонаря. Он ворчал долго и упорно, но никто теперь этого доброго чудака не боялся. Весь этот вечер мать не отходила от Гека и, чуть что, хватала его за руку, как будто боялась, что вот-вот он опять куда-нибудь исчезнет. И так много она о нем заботилась, что наконец Чук обиделся и про себя уже несколько раз пожалел, что и он не полез в сундук тоже.

Теперь стало весело. На следующее утро сторож открыл комнату, где жил их отец. Он жарко натопил печь и перенес сюда все их вещи. Комната была большая, светлая, но все в ней было расставлено и навалено без толку.

Мать сразу же взялась за уборку. Целый день она все переставляла, скоблила, мыла, чистила.

И когда к вечеру сторож принес вязанку дров, то, удивленный переменой и невиданной чистотой, он остановился и не пошел дальше порога.

А собака Смелый пошла.

Она пошла прямо по свежевымытому полу, подошла к Геку и ткнула его холодным носом. Вот, мол, дурак, это я тебя нашла, и за это ты должен дать мне что-нибудь покушать.

Мать раздобрилась и кинула Смелому кусок колбасы. Тогда сторож заворчал и сказал, что если в тайге собак кормить колбасой, так это сорокам на смех.

Мать отрезала и ему полкруга. Он сказал «спасибо» и ушел, все чему-то удивляясь и покачивая головой.

На следующий день было решено готовить к Новому году елку.

Из чего-чего только не выдумывали они мастерить игрушки!

Они ободрали все цветные картинки из старых журналов. Из лоскутьев и ваты понашивали зверьков, кукол. Вытянули у отца из ящика всю папиросную бумагу и навертели пышных цветов.

Уж на что хмур и нелюдим был сторож, а и тот, когда приносил дрова, подолгу останавливался у двери и дивился на их все новые и новые затеи. Наконец он не вытерпел. Он принес им серебряную бумагу от завертки чая и большой кусок воска, который у него остался от сапожного дела.

Это было замечательно! И игрушечная фабрика сразу превратилась в свечной завод. Свечи были неуклюжие, неровные. Но горели они так же ярко, как и самые нарядные покупные.

Теперь дело было за елкой. Мать попросила у сторожа топор, но он ничего на это ей даже не ответил, а стал на лыжи и ушел в лес.

Через полчаса он вернулся.

Ладно. Пусть игрушки были и не ахти какие нарядные, пусть зайцы, сшитые из тряпок, были похожи на кошек, пусть все куклы были на одно лицо – прямоносые и лупоглазые, и пусть, наконец, еловые шишки, обернутые серебряной бумагой, не так сверкали, как хрупкие и тонкие стеклянные игрушки, но зато такой елки в Москве, конечно, ни у кого не было. Это была настоящая таежная красавица – высокая, густая, прямая и с ветвями, которые

расходились на концах, как звездочки.

Четыре дня за делом пролетели незаметно. И вот наступил канун Нового года. Уже с утра Чука и Гека нельзя было загнать домой. С посинелыми носами они торчали на морозе, ожидая, что вот-вот из леса выйдет отец и все его люди.

Но сторож, который топил баню, сказал им, чтобы они не мерзли понапрасну, потому что вся партия вернется только к обеду.

И в самом деле. Только что они сели за стол, как сторож постучал в окошко. Кое-как одевшись, все втроем они вышли на крыльцо.

– Теперь смотрите, – сказал им сторож. – Вот они сейчас покажутся на скате той горы, что правей большой вершины, потом опять пропадут в тайге, и тогда через полчаса все будут дома.

Так оно и вышло. Сначала из-за перевала вылетела собачья упряжка с груженными санями, а за нею следом пронеслись быстроходные лыжники. По сравнению с громадой гор они казались до смешного маленькими, хотя отсюда были отчетливо видны их руки, ноги и головы. Они промелькнули по голому скату и исчезли в лесу.

Ровно через полчаса послышался лай собак, шум, скрип, крики. Почуявшие дом голодные собаки лихо вынеслись из леса. А за ними, не отставая, выкатили на опушку девять лыжников. И, увидав на крыльце мать, Чука и Гека, они на бегу подняли лыжные палки и громко закричали: «Ура!»

Тогда Гек не вытерпел, спрыгнул с крыльца и, зачерпывая снег валенками, помчался навстречу высокому, заросшему бородой человеку, который бежал впереди и кричал «ура» громче всех.

Днем чистились, брились, мылись.

А вечером была для всех елка, и все дружно встречали Новый год.

Когда был накрыт стол, потушили лампу и зажгли свечи. Но так как, кроме Чука с Геком, остальные все были взрослые, то они, конечно, не знали, что теперь нужно делать.

Хорошо, что у одного человека был баян, и он заиграл веселый танец. Тогда все повскакали, и всем захотелось танцевать. И все танцевали очень прекрасно, особенно когда приглашали на танец маму.

А отец танцевать не умел. Он был очень сильный, добродушный, и когда он без всяких танцев просто шагал по полу, то в шкафу звенела вся посуда.

Он посадил себе Чука с Геком на колени, и они громко хлопали всем в ладоши.

Потом танец окончился, и люди попросили, чтобы Гек спел песню. Гек не стал ломаться. Он и сам знал, что умеет петь песни, и гордился этим.

Баянист подыгрывал, а он им спел песню. Какую – я уже сейчас не помню. Помню, что это была очень хорошая песня, потому что все люди, слушая ее, замолкли и притихли. И когда Гек остановился, чтобы перевести дух, то было слышно, как потрескивали свечи и гудел за окном ветер.

А когда Гек окончил петь, то все зашумели, закричали, подхватили Гека на руки и стали его подкидывать. Но мать тотчас же отняла у них Гека, потому что она испугалась, как бы сгоряча его не стукнули о деревянный потолок.

– Теперь садитесь, – взглянув на часы, сказал отец. – Сейчас начнется самое главное.

Он пошел и включил радиоприемник. Все сели и замолчали. Сначала было тихо. Но вот раздался шум, гул, гудки. Потом что-то стукнуло, зашипело, и откуда-то издалека донесся мелодичный звон.

Большие и маленькие колокола звонили так:

Тир-лиль-лили-дон!
Тир-лиль-лили-дон!

Чук с Геком переглянулись. Они угадали, что это. Это в далекой-далекой Москве, под красной звездой, на Спасской башне звонили золотые кремлевские часы.

И этот звон – перед Новым годом – сейчас слушали люди и в городах, и в горах, в степях, в тайге, на синем море.

И, конечно, задумчивый командир бронепоезда, тот, что неутомимо ждал приказа от Ворошилова, чтобы открыть против врагов бой, слышал этот звон тоже.

И тогда все люди встали, поздравили друг друга с Новым годом и пожелали всем счастья.

Что такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной.

Виктор Юзефович Драгунский (1913 – 1972)

Друг детства

Когда мне было лет шесть или шесть с половиной, я совершенно не знал, кем же я в конце концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились и все работы тоже. У меня тогда в голове была ужасная путаница, я был какой-то растерянный и никак не мог толком решить, за что же мне приниматься.

То я хотел быть астрономом, чтоб не спать по ночам и наблюдать в телескоп далекие синие звезды, а то я мечтал стать капитаном дальнего плавания, чтобы стоять, расставив ноги, на капитанском мостике, и посетить далекий Сингапур, и купить себе там забавную обезьянку. А то мне до смерти хотелось превратиться в начальника станции метро, и ходить в красной фуражке, и кричать толстым голосом:

– Го-о-тов!

Или у меня разгорался аппетит, чтобы выучиться на такого художника, который рисует на уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин. А то мне казалось, что неплохо бы стать отважным путешественником вроде Алена Бомбара и переплыть все океаны в лодке, питаясь одной только сырой рыбой. Правда, этот Бомбар после своего путешествия похудел на двадцать пять килограммов, а я всего-то весил двадцать шесть, так что выходило, что если я тоже поплыву, как он, то мне худеть будет совершенно некуда, я буду весить в конце путешествия только одно кило. А вдруг я где-нибудь не поймаю одну-другую рыбину и похудею чуть побольше? Тогда я, наверно, просто растаю в воздухе, как дым, вот и все дела.

Когда я все это подсчитал, то решил отказаться от своей затеи. А на другой день мне уже захотелось ехать боксером, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. Как они молотили друг друга – просто ужас какой-то! А потом показали их тренировку, и тут они колотили тяжелую кожаную «грушу» – такой продолговатый тяжелый мяч, по нему надо бить изо всех сил, чтобы развивать в себе силу удара. И я так нагляделся на все, что решил стать самым сильным человеком во дворе, чтобы всех побивать в случае чего.

Я сказал папе:

– Папа, купи мне грушу!

Он сказал:

– Сейчас январь, груш нет. Съешь пока морковку.

Я рассмеялся.

– Нет, папа, не такую! Не съедобную грушу! Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную кожаную боксерскую грушу!

– А тебе зачем? – спросил папа.

– Тренироваться, – сказал я. – Потому что я буду боксером и буду всех побивать. Купи, а?

– Сколько же стоит такая груша? – поинтересовался папа.

– Пустяки какие-нибудь, – сказал я. – Рублей сто или триста.

– Знаешь, братец, – сказал папа, – перебейся как-нибудь без груши. Ничего с тобой не случится.

И он пошел на работу.

А я на него обиделся за то, что он мне так со смехом отказал. И мама сразу же заметила, что я обиделся, и тотчас сказала:

– Стой-ка, я, кажется, что-то придумала. Ну-ка, ну-ка, погоди-ка одну минуточку.

И она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетеную корзину, в нее были сложены старые игрушки, в которые я уже не играл. Потому что я уже вырос, и осенью мне должны были купить школьную форму и картуз с блестящим козырьком.

Мама стала копаться в этой корзинке, и, пока она копалась, я видел мой старый трамвайчик без колес и на веревочке, пластмассовую дудку, помятый волчок, одну стрелу с резиновой нашлепкой, обрывок паруса от лодки, и несколько погремух, и много еще разного игрушечного утиля. И вдруг мама достала со дна корзинки здоровущего плюшевого мишку. Она бросила его мне на диван и сказала:

– Вот. Это тот самый, что тебе тетя Мила подарила. Тебе тогда два года исполнилось. Хороший Мишка, отличный. Погляди, какой тугой! Живот какой толстый! Ишь как выкатил! Чем не «груша»? Еще лучше! И покупать не надо! Давай, тренируйся сколько душе угодно! Начинай!

И тут ее позвали к телефону, и она вышла в коридор.

А я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И я устроил Мишку поудобнее на диване, чтобы мне сподручней было об него тренироваться и развивать в себе силу удара.

Он сидел передо мной, такой шоколадный, нос здорово облезлый, и у него были разные глаза: один его собственный, желтый стеклянный, а другой, большой белый, из пуговицы от наволочки, я даже не помнил, когда он появился. Но это было неважно, потому что Мишка довольно весело смотрел на меня своими разными глазами и он расставил ноги и выпятил мне

навстречу живот, а обе руки поднял кверху, как будто шутил, что вот он уже заранее сдается…

И я вот так посмотрел на него и вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим Мишкой ни на минуту не расставался, повсюду таскал его за собой, и нянькал его, и сажал его за стол рядом с собой обедать, и кормил его с ложки манной кашей, и у него такая забавная мордочка становилась, когда я его чем-нибудь перемазывал. Такая забавная милая мордочка становилась у него, прямо как живая. И я спать с собой укладывал, и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему разные сказки прямо в его бархатные тверденькие ушки. И я его любил тогда, любил всей душой, я бы за него тогда жизнь отдал… И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий друг детства, смеется разными глазами, а я хочу тренировать об него силу удара.

– Ты что? – сказала мама, – она уже вернулась из коридора, – что с тобой?

А я не знал, что со мной, я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не догадалась, что со мной, и я задрал голову к потолку, чтобы слезы вкатились в меня обратно, и потом я сказал:

– Ты о чем, мама? Со мной ничего… Просто я раздумал. Просто я никогда не буду боксером.

Борис Степанович Житков (1882 – 1938)

Над водой

– Я так мечтала полететь к облакам, а теперь боюсь, боюсь! – говорила дама, которую подсаживал в каюту аэроплана толстый мужчина в дорожном пальто.

– Теперь – как по железной дороге, – утешал ее толстяк, – даже лучше: никаких стрелочников, столкновений, снежных заносов.

За ними неторопливо протискивался военный с пакетами, с толстым портфелем и с револьвером поверх шинели.

Долговязый мрачный пассажир с сердитым, подозрительным видом осматривал аппарат со всех сторон, ничего не понимал, но думал, что все же надежнее, если самому посмотреть.

Он подошел к пилоту, который возился у рулей, и спросил сухим голосом:

– А скажите, в воздухе бывают бури? И эти ямы воздушные? Ведь ночью их не видать?

Пилот улыбнулся:

– Да и днем их не видно.

– А если провалимся, то?..

– Ну, пролетим вниз немного, не беда – мы высоко полетим.

– Ах, очень высоко? – вмешался молодой человек в синей кепке, тоже пассажир. – Это очень приятно! – сказал он храбро. Хотел улыбнуться, но вышло кисло.

Долговязый злобно взглянул на него и ушел в каюту, где и уселся рядом с толстяком.

– Э-эй, обормоты! Не разливай бензина! – крикнул пилот мальчишкам, которые наполняли из жестянок бензиновые баки.

– Ладно, черт! – сказал один из них и ловко вынул из отверстия бака сетчатый стакан, через который лился и фильтровался от сора бензин.

– Теперь ходче пойдет. Чего зря-то мерзнуть! А засорится мотор – так тебе, дьяволу, и надо, лайся больше! Сам обормотина! – вполголоса ворчал мальчишка.

Наконец все было готово, все десять пассажиров сидели по местам. Пора лететь. Механик еще раз посмотрел, все ли исправно.

– А что ж, меня-то возьмешь? – спросил механика ученик Федорчук.

– Нет, ты тут подлетывай. В большой рейс тебя не рука брать. Лучше набрать чего-нибудь, повезти продать пуда четыре.

– Так ведь тут какое ученье! Взяли бы – пригодился б, может быть.

– Какая от тебя польза? Одно слово – балласт, – отрезал механик.

Но пилоту стало жаль Федорчука:

– Я все равно никакой спекуляции везти не дам, чего там! Пусть учится. Одевайся – полетишь!

Федорчук бегом пустился в ангар одеваться.

Снялись.

Аппарат набрал высоты, выше и выше, шел к снежным облакам, которые до горизонта обволокли небо плотным куполом. Там, выше этих облаков, – яркое-яркое солнце, а внизу ослепительно белая пустыня – те же облака сверху.

Два мотора вертели два винта. За их треском трудно было слушать друг друга пассажирам, которые сидели в каюте аппарата. Они переписывались на клочках бумаги. Некоторые не отрываясь глядели в окна, другие, наоборот, старались смотреть в пол, чтобы как-нибудь не увидать, на какой они высоте, и не испугаться, но они чувствовали, что под ними, и от этого не могли ни о чем больше думать. Дама достала книжку и не отрываясь в нее смотрела, но ничего не понимала.

«А мы все поднимаемся», – написал на бумажке веселый толстый пассажир, смотревший в окно, своему обалдевшему соседу.

Тот прочел, махнул раздраженно рукой, натянул еще глубже свою шляпу и ниже наклонился к полу. Толстый пассажир достал из саквояжа бутерброды и принялся спокойно есть.

А впереди, у управления, сидели пилот, механик и ученик. Все были тепло одеты, в кожаных шлемах. Механик знаками показывал ученику на приборы: на альтиметр, который показывал высоту, на манометры, показывавшие давление масла и бензина. Ученик следил за его жестами и писал у себя в книжечке вопросы корявыми буквами – руки были в огромных теплых перчатках. Альтиметр показывал 800 метров и шел вверх. Уже близко облака.

«А как в облаках?» – писал Федорчук.

«Чепуха, увидишь», – ответил механик.

Ученик не спешил бояться, хоть никогда в облаках не был. Грешным делом он все-таки подумывал, что непременно должно выйти что-нибудь вроде столкновения. Впереди было совсем туманно, но через минуту аппарат попал в полосу снега, который, казалось, летел не сверху, а прямо навстречу.

Снег залепил окно впереди пилоту – внизу ничего не было видно. Пилот правил по компасу, но все так же забирал выше и выше. Стало темнее.

Механик написал Федорчуку:

«Мы в облаках».

Вокруг них был густой туман, и стало темно, как в сумерки. Да и поздно было – оставалось полчаса до заката.

Но вот стало светлее, еще и еще, и яркое солнце совсем на горизонте весело засверкало на залепленных снегом стеклах. Даже пассажиры, что смотрели в пол, приободрились и ожили. Сильный ветер от хода аппарата сдул налипший на стекла снег, и стало видно яркую пелену внизу, до самого горизонта, как будто над бесконечной снежной равниной несся аппарат.

Пилот смотрел по часам и высчитывал в уме, где они сейчас должны были быть. Солнце зашло. Механик включил свет, и оттого в каюте у пассажиров стало уютнее. Все привыкли к равномерному реву моторов и свисту ветра. В каюте было тепло, и можно было забыть, что под аппаратом полторы версты пустого пространства, что если упасть, то ворон костей не соберет, что жизнь всех – в искусстве пилота и исправной работе моторов. Многие совсем развеселились, а толстый пассажир посылал всем смешные записки.

Вдруг в рев моторов ворвались какие-то перебои. Пассажиры беспокойно переглянулись. Долговязый побледнел и в первый раз взглянул в окно: оттуда на него глянула пустая темнота, только отражение лампочки тряслось в стекле.

Но перебои прекратились, и опять по-прежнему ровным воем ревели моторы.

«Не пугайтесь, – писал толстяк, – если и станут моторы, мы спланируем».

«В море», – приписал долговязый и передал записку обратно.

Действительно, аппарат летел теперь над морем. Механик напряженно слушал рев моторов, как доктор слушает сердце больного. Он понял, что был пропуск, что, вероятно, засорился карбюратор – через него попадает бензин в мотор, а что теперь пронесло; но уже знал, что бензин не чист, и боялся, что засорится карбюратор – и станет мотор.

Федорчук спросил, в чем дело. Но механик отмахнулся и, не отвечая, продолжал напряженно прислушиваться. Ученик старался сам догадаться, отчего это поперхнулся мотор. Тысяча причин: магнето, свечи, клапаны – и какой мотор, правый или левый? В каждом моторе опять же два карбюратора. Федорчуку тоже приходило в голову: не засорилось ли?

«Ну, – подумал Федорчук, – будем планировать и чиниться в

воздухе».

Но ему было удивительно, почему так перепугался этот знающий механик. Такой он трус или в самом деле что-нибудь серьезное, чего в полете не исправить, а он, новичок, не понимает?

Но тут рев моторов стал вдвое слабее. Пилот повернул руль и выключил левый мотор. Федорчук понял, что правый стал сам.

Механик побледнел и стал качать ручной помпой воздух в бензиновый бак. Федорчук сообразил, что он хочет напором бензина прочистить засорившийся карбюратор, но знал уже, что это ни к чему. Пилот кричал на ухо механику, чтобы тот шел на крыло наладить остановившийся мотор.

Альтиметр показывал 1200 метров.

А в каюте встревоженные пассажиры глядели друг другу в испуганные лица, и даже толстяк писал не совсем четко: рука его тряслась немного.

«Мы планируем, сейчас исправят мотор, и мы полетим».

Но мысленно все прибавляли: «Вниз головой в море».

Пассажиры не знали, на какой они высоте.

Все боялись моря внизу, и в то же время их пугала высота.

Долговязый пассажир вдруг сорвался с места и бросился к дверям каюты; он дергал ручку, как будто хотел вырваться из горящего дома. Но дверь была заперта снаружи. Дама выпустила из рук книжку, дико, пронзительно закричала. Все вздрогнули, вскочили с мест и стали бесцельно метаться.

Толстяк повторял, не понимая своих слов:

– Я скажу, чтобы летели, сейчас скажу!..

Дама повернулась к окну и вдруг мелко и слабо забарабанила кулачками по стеклу, но сейчас же упала без чувств поперек каюты.

Военный, бледный как полотно, стоял и глядел в черное окно остановившимися глазами. Колени его тряслись, он еле стоял на ногах, но не мог отвести глаз. Молодой человек в синей кепке закрыл лицо руками, как будто у него болели зубы. В переднем углу пожилой пассажир мотал болезненно головой и вскрикивал: «Га-гага». В такт этому крику все сильнее дергалась ручка двери и больше раскачивался молодой человек. «Га-га-га» перешло в исступленный рев, и вдруг все пассажиры завыли, застонали раздирающим хором.

А механик все возился, все подкачивал помпу, стукал пальцем по стеклу манометра. Пилот толкнул его локтем и строго кивнул головой в сторону выхода на крыло. Механик сунулся, но сейчас же вернулся – он стал рыться в ящике с инструментами, а они лежали в своих гнездах, в строгом порядке. Хватал один

ключ, бросал, мотал головой, что-то шептал и снова рылся. Федорчук теперь ясно видел, что механик струсил и ни за что уж не выйдет на крыло. Пилот раздраженно толкнул механика кулаком в шлем и ткнул пальцем на альтиметр: он показывал 150.

Сто пятьдесят метров до моря.

Механик утвердительно закивал головой и еще быстрее стал перебирать инструменты. Пилот крикнул:

– Возьми руль!

Хотел встать и сам пойти к мотору, но механик испуганно замахал руками и откинулся на спинку сиденья.

Федорчук вскочил.

– Давай ключ! – крикнул он механику.

Тот дрожащей рукой сунул ему маленький гаечный ключик. Федорчук вышел на крыло.

Резкий, пронизывающий ветер нес холодный туман; он скользкой коркой намерзал на крыльях, на стойках, на проволочных тягах.

– К мотору!

Рискуя каждую секунду слететь вниз, добрался Федорчук до мотора. Теплый еще.

Федорчук слышал вой из пассажирской каюты и нащупывал на карбюраторе нужную гайку.

– Вот она!

Скользко стоять, ветер ревет и толкает с крыла.

Вот гайка подалась.

Идет дело!

Спешит Федорчук, и уже слышно, как ревет море. Еще минута, другая – и аппарат со всеми людьми потонет в мерзлой воде.

– Готово!

Теперь гайку на место! Замерзли пальцы, не попадает на резьбу проклятая гайка. Сейчас, сейчас на месте, теперь немного еще притянуть.

– Есть! – заорал Федорчук во всю силу своих легких.

Включили электрический пуск, и заревели моторы. В каюте все сразу стихли и опустились где кто был: на пол, на диван, друг на друга. Толстяк первый пришел в себя и стал подымать бесчувственную даму.

А Федорчук смело лез по крылу назад к управлению. У него весело было на сердце. Порывы штормового ветра бросали аппарат. Федорчук взялся за ручку дверцы, но соскользнула нога с обледенелого крыла, ручка выскользнула из рук, и Федорчук сорвался в темную пустоту.

Через минуту пилот злобно взглянул на механика. Тот, бледный, все еще перебирал инструменты в ящике. Оба понимали, почему нет Федорчука.

Пожар

Петя с мамой и сестрами жил в верхнем этаже, а в нижнем этаже жил учитель. Вот раз мама пошла с девочками купаться. А Петя остался один стеречь квартиру.

Когда все ушли, Петя стал пробовать свою самодельную пушку. Она была из железной трубки. В середину Петя набил пороху, а сзади была дырочка, чтобы зажигать порох. Но сколько Петя ни старался, он не мог никак поджечь. Петя очень рассердился. Он пошел на кухню. Наложил в плиту щепок, полил их керосином, положил сверху пушку и зажег: «Теперь небось выстрелит!»

Огонь разгорелся, загудел в плите – и вдруг как бахнет выстрел! Да такой, что весь огонь из плиты выкинуло.

Петя испугался, выбежал из дому. Никого не было дома, никто ничего не слыхал. Петя убежал подальше. Он думал, что, может быть, все само потухнет. А ничего не потухло. И еще больше разгорелось.

Учитель шел домой и увидел, что из верхних окон идет дым. Он побежал к столбику, где за стеклом была сделана кнопка. Это звонок к пожарным.

Учитель разбил стекло и надавил кнопку.

У пожарных зазвонило. Они скорее бросились к своим пожарным автомобилям и помчались во весь дух. Они подъехали к столбику, а там учитель показал им, где горит. У пожарных на автомобиле был насос. Насос начал качать воду, а пожарные стали заливать огонь водой из резиновых труб. Пожарные приставили лестницы к окнам и полезли в дом, чтобы узнать, не осталось ли в доме людей. В доме никого не было. Пожарные стали выносить вещи.

Петина мама прибежала, когда вся квартира была уже в огне. Милиционер никого не пускал близко, чтобы не мешали пожарным. Самые нужные вещи не успели сгореть, и пожарные принесли их Петиной маме.

А Петина мама все плакала и говорила, что, наверное, Петя сгорел, потому что его нигде не видно.

А Пете было стыдно, и он боялся подойти к маме. Мальчики его увидели и насильно привели.

Пожарные так хорошо потушили, что в нижнем этаже ничего не сгорело. Пожарные сели в свои автомобили и уехали назад. А

учитель пустил Петину маму жить к себе, пока не починят дом.

Борис Владимирович Заходер (1918 – 2000)

Серая Звездочка

– Ну, так вот что, – сказал папа Ёжик, – сказка эта называется «Серая Звездочка», но по названию тебе ни за что не догадаться, про кого эта сказка. Поэтому слушай внимательно и не перебивай. Все вопросы потом.

– А разве бывают серые звездочки? – спросил Ежонок.

– Если ты меня еще раз перебьешь, не буду рассказывать, – ответил Ёжик, но, заметив, что сынишка собирается заплакать, смягчился: – Вообще-то не бывают, хотя, по-моему, это странно – ведь серый цвет самый красивый. Но одна Серая Звездочка была.

Так вот, жила-была жаба – неуклюжая, некрасивая, вдобавок от нее пахло чесноком, а вместо колючек у нее были – можешь себе представить! – бородавки. Брр!

К счастью, она не знала ни о том, что она такая некрасивая, ни о том, что она – жаба. Во-первых, потому что она была совсем маленькая и вообще мало что знала, а во-вторых, потому что ее никто так не называл. Она жила в саду, где росли Деревья, Кусты и Цветы, а ты должен знать, что Деревья, Кусты и Цветы разговаривают только с теми, кого они очень-очень любят. А ведь не станешь ты называть того, кого ты очень-очень любишь, жабой?

Ежонок засопел в знак согласия.

– Ну вот, Деревья, Кусты и Цветы очень любили жабу и поэтому звали ее самыми ласковыми именами. Особенно Цветы.

– А за что они ее так любили? – тихонечко спросил Ежонок.

Отец насупился, и Ежонок сразу свернулся.

– Если помолчишь, то скоро узнаешь, – строго сказал Ёжик. Он продолжал: – Когда жаба появилась в саду, Цветы спросили, как ее зовут, и когда она ответила, что не знает, очень обрадовались.

«Ой, как здорово! – сказали Анютины Глазки (они первыми увидели ее). – Тогда мы сами тебе придумаем имя! Хочешь, мы будем звать тебя… будем звать тебя Анютой?»

«Уж лучше Маргаритой, – сказали Маргаритки. – Это имя гораздо красивее!»

Тут вмешались Розы – они предложили назвать ее Красавицей; Колокольчики потребовали, чтобы она называлась Динь-Динь (это было единственное слово, которое они умели

говорить), а цветок по имени Иван-да-Марья предложил ей называться Ванечка-Манечка.

Ежонок фыркнул и испуганно покосился на отца, но Ёжик не рассердился, потому что Ежонок фыркнул вовремя. Он спокойно продолжал:

– Словом, спорам не было бы конца, если бы не Астры. И если бы не Ученый Скворец.

«Пусть она называется Астрой», – сказали Астры.

«Или, еще лучше, Звездочкой, – сказал Ученый Скворец. – Это значит то же самое, что Астра, только гораздо понятнее. К тому же она и правда напоминает звездочку – вы только посмотрите, какие у нее лучистые глаза! А так как она серая, вы можете звать ее Серой Звездочкой – тогда уж не будет никакой путаницы! Кажется, ясно?»

И все согласились с Ученым Скворцом, потому что он был очень умный, умел говорить несколько настоящих человеческих слов и насвистывать почти до конца Музыкальное произведение, которое называется, кажется… «Ёжик-Пыжик» или как-то в этом роде. За это люди построили ему на тополе домик.

С тех пор все стали называть жабу Серой Звездочкой. Все, кроме Колокольчиков, – они по-прежнему звали ее Динь-Динь, но ведь это было единственное слово, которое они умели говорить.

«Нечего сказать, звездочка, – прошипел толстый старый Слизняк. Он вполз на розовый куст и подбирался к нежным молодым листочкам. – Хороша звездочка! Ведь это самая обыкновенная серая…»

Он хотел сказать «жаба», но не успел, потому что в этот самый миг Серая Звездочка взглянула на него своими лучистыми глазами – и Слизняк исчез.

«Спасибо тебе, милая Звездочка, – сказала Роза, побледневшая от страха. – Ты спасла меня от страшного врага!»

– А надо тебе знать, – пояснил Ёжик, что у Цветов, Деревьев и Кустов, хотя они никому не делают зла – наоборот, одно хорошее! – тоже есть враги. Их много! Хорошо еще, что эти враги довольно вкусные!

– Значит, Звездочка съела этого толстого Слизняка? – спросил Ежонок, облизнувшись.

– Скорее всего, да, – сказал Ёжик. – Правда, ручаться нельзя. Никто не видел, как Звездочка ела Слизняков, Прожорливых Жуков и Вредных Гусениц. Но все враги Цветов исчезали, стоило Серой Звездочке посмотреть на них своими лучистыми глазами. Исчезали навсегда. И с тех пор как Серая Звездочка поселилась в саду, Деревьям, Цветам и Кустам стало жить гораздо лучше. Особенно Цветам. Потому что Кусты и Деревья защищали от

врагов Птицы, а Цветы защищать было некому – для Птиц они слишком низенькие.

Вот почему Цветы так полюбили Серую Звездочку. Они расцветали от радости каждое утро, когда она приходила в сад. Только и слышно было: «Звездочка, к нам!», «Нет, сперва к нам! К нам!..»

Цветы говорили ей самые ласковые слова и благодарили, и хвалили ее на все лады, а Серая Звездочка скромно молчала – ведь она была очень, очень скромная, и только глаза ее так и сияли.

Одна Сорока, любившая подслушивать человеческие разговоры, однажды даже спросила, правда ли, что у нее в голове спрятан драгоценный камень и поэтому ее глаза так сияют.

«Я не знаю, – смущенно сказала Серая Звездочка. – По-моему, нет…»

«Ну и Сорока! Ну и пустомеля! – сказал Ученый Скворец. – Не камень, а путаница, и не у Звездочки в голове, а у тебя! У Серой Звездочки лучистые глаза, потому что у нее чистая совесть – ведь она делает Полезное Дело! Кажется, ясно?»

– Папа, можно задать вопрос? – спросил Ежонок.

– Все вопросы потом.

– Ну, пожалуйста, папочка, только один!

– Один – ну так и быть.

– Папа, а мы… мы полезные?

– Очень, – сказал Ёжик, – можешь не сомневаться. Но слушай, что было дальше.

Так вот, как я уже сказал, Цветы знали, что Серая Звездочка – добрая, хорошая и полезная. Знали это и Птицы. Знали, конечно, и Люди, особенно Умные Люди. И только враги Цветов были с этим не согласны. «Мерзкая, вредная злючка!» – шипели они, конечно, когда Звездочки не было поблизости. «Уродина! Гадость!» – скрипели Прожорливые Жуки. «Надо расправиться с ней! – вторили им Гусеницы. – От нее просто нет житья!»

Правда, на их брань и угрозы никто не обращал внимания, и к тому же врагов становилось все меньше и меньше, но, на беду, в дело вмешалась ближайшая родственница Гусениц – бабочка Крапивница. На вид она была совершенно безобидная и даже хорошенькая, но на самом деле ужасно вредная. Так иногда бывает.

Да, я забыл тебе сказать, что Серая Звездочка никогда не трогала Бабочек.

– Почему? – спросил Ежонок. – Они невкусные?

– Совсем не потому, глупыш. Скорее всего потому, что бабочки похожи на цветы, а ведь Звездочка так любила Цветы! И,

наверное, она не знала, что Бабочки и Гусеницы – почти одно и то же. Ведь Гусеницы превращаются в Бабочек, а от Бабочек выводятся новые Гусеницы…

Так вот, хитрая Крапивница придумала хитрый план – как погубить Серую Звездочку.

«Я скоро спасу вас от этой мерзкой жабы!» – сказала она своим сестрам Гусеницам, своим друзьям – Жукам и Слизнякам. И улетела из сада.

А когда она вернулась, за ней бежал Очень Глупый Мальчишка. В руке у него была тюбетейка, он размахивал ею в воздухе и думал, что вот-вот поймает хорошенькую Крапивницу. Тюбетейкой.

А хитрая Крапивница делала вид, что вот-вот попадется: сядет на цветок, притворится, будто не замечает Очень Глупого Мальчишку, а потом вдруг вспорхнет перед самым его носом и перелетает на следующую клумбу.

И так она заманила Очень Глупого Мальчишку в самую глубину сада, как раз на ту дорожку, где сидела Серая Звездочка и беседовала с Ученым Скворцом.

Крапивница была сразу же наказана за свой подлый поступок: Ученый Скворец молнией слетел с ветки и схватил ее клювом. Но было уже поздно, потому что Очень Глупый Мальчишка заметил Серую Звездочку.

«Жаба, жаба! – закричал он очень глупым голосом. – У-у-у, какая противная! Бей жабу! Бей!»

Серая Звездочка сперва не поняла, что это он говорит о ней, – ведь ее никто еще не называл жабой. Она не двинулась с места и тогда, когда Очень Глупый Мальчишка замахнулся на нее камнем.

«Звездочка, спасайся! – отчаянным голосом крикнул ей Ученый Скворец, чуть не подавившись Крапивницей.

В ту же минуту тяжелый камень шлепнулся на землю рядом с Серой Звездочкой. К счастью, Очень Глупый Мальчишка промахнулся, и Серая Звездочка успела отскочить в сторону. Цветы и Трава скрыли ее от глаз. Но Очень Глупый Мальчишка не унимался. Он подсобрал еще несколько камней и продолжал швырять их туда, где шевелились Трава и Цветы.

«Жаба! Ядовитая жаба! – кричал он. – Бей уродину!»

«Ду-ра-чок! Ду-ра-чок! – крикнул ему Ученый Скворец. – Что за путаница у тебя в голове? Ведь она полезная! Кажется, ясно?»

Но Очень Глупый Мальчишка схватил палку и полез прямо в Розовый Куст – туда, где, как ему казалось, спряталась Серая Звездочка.

Розовый Куст изо всех сил уколол его своими острыми колючками. И Очень Глупый Мальчишка с ревом побежал из сада.

– Урраа! – закричал Ежонок.

– Да, брат, колючки – это хорошая вещь! – продолжал Ёжик. – Если бы у Серой Звездочки были колючки, то, возможно, ей не пришлось бы так горько плакать в этот день. Но, как ты знаешь, колючек у нее не было, и поэтому она сидела под корнями Розового Куста и горько-горько плакала.

«Он назвал меня жабой, – рыдала она, – уродиной! Так сказал Человек, а ведь люди все-все знают! Значит, я жаба, жаба!..»

Все утешали ее как могли: Анютины Глазки говорили, что она всегда останется их милой Серой Звездочкой; Розы говорили ей, что красота – не самое главное в жизни (с их стороны это была немалая жертва). «Не плачь, Ванечка-Манечка», – повторяли Иванда-Марья, а Колокольчики шептали: «Динь-Динь», и это тоже звучало очень утешительно.

Но Серая Звездочка плакала так громко, что не слышала утешений. Так всегда бывает, когда начинают утешать слишком рано. Цветы этого не знали, но зато это прекрасно знал Ученый Скворец. Он дал Серой Звездочке вволю выплакаться, а потом сказал:

«Я не буду тебя утешать, дорогая. Скажу тебе только одно: дело не в названии. И уж во всяком случае, совершенно неважно, что про тебя скажет какой-то Глупый Мальчишка, у которого в голове одна путаница! Для всех твоих друзей ты была и будешь милой Серой Звездочкой. Кажется, ясно?»

И он засвистел Музыкальное произведение про… про Ёжика-Пыжика, чтобы развеселить Серую Звездочку и показать, что считает разговор оконченным.

Серая Звездочка перестала плакать.

«Ты, конечно, прав, Скворушка, – сказала она. – Конечно, дело не в названии… Но все-таки… все-таки я, пожалуй, не буду больше приходить в сад днем, чтобы… чтобы не встретить кого-нибудь тупого…»

И с тех пор Серая Звездочка – и не только она, а и все ее братья и сестры, дети и внуки приходят в сад и делают свое Полезное Дело только по ночам.

Самуил Яковлевич Маршак (1887 – 1964)

Знаки препинания

У последней
Точки
На последней
Строчке
Собралась компания
Знаков препинания.
Прибежал
Чудак —
Восклицательный знак.
Никогда он не молчит,
Оглушительно кричит:
– Ура!
Долой!
Караул!
Разбой!
Притащился кривоносый
Вопросительный знак.
Задает он всем вопросы:
– Кто?
Кого?
Откуда?
Как?
Явились запятые,
Девицы завитые.
Живут они в диктовке
На каждой остановке.
Прискакало двоеточие,
Прикатило многоточие
И прочие,
И прочие,
И прочие…
Заявили запятые:
– Мы особы занятые.
Не обходится без нас
Ни диктовка, ни рассказ.
– Если нет над вами точки,
Запятая – знак пустой! —

Отозвалась с той же строчки
Тетя точка с запятой;
Двоеточие, мигая,
Закричало: – Нет, постой!
Я важней, чем запятая
Или точка с запятой,
Потому что я в два раза
Больше точки одноглазой.
В оба глаза я гляжу,
За порядком я слежу.
– Нет… – сказало многоточие,
Еле глазками ворочая, —
Если вам угодно знать,
Я важней, чем прочие.
Там, где нечего сказать,
Ставят многоточие…
Вопросительный знак
Удивился: – То есть как?
Восклицательный знак
Возмутился: – То есть как!
– Так, – сказала точка,
Точка-одиночка. —
Мной кончается рассказ.
Значит, я важнее вас.

Пудель

На свете старушка
Спокойно жила,
Сухарики ела
И кофе пила.

И был у старушки
Породистый пес,
Косматые уши
И стриженый нос.

Старушка сказала:
– Открою буфет
И косточку
Пуделю
Дам на обед.

Подходит к буфету,
На полку глядит,
А пудель
На блюдце
В буфете сидит.

* * *

Однажды
Старушка
Отправилась в лес.
Приходит обратно,
А пудель исчез.

Искала старушка
Четырнадцать дней,
А пудель
По комнате
Бегал за ней.

* * *

Старушка на грядке
Полола горох.
Приходит с работы,
А пудель издох.

Старушка бежит
И зовет докторов.
Приходит обратно,
А пудель здоров.

* * *

По скользкой тропинке
В метель и мороз
Спускаются с горки
Старушка и пес.

Старушка в калошах,
А пес – босиком.
Старушка вприпрыжку
А пес кувырком!

* * *

По улице
Курица
Водит цыплят.
Цыплята тихонько
Пищат и свистят.

Помчался вдогонку
За курицей пес,
А курица пуделя
Клюнула в нос.

* * *

Старушка и пудель
Смотрели
В окно,
Но скоро на улице
Стало темно.
Старушка спросила:
– Что делать, мой пес?
А пудель подумал
И спички принес.

* * *

Смотала старушка
Клубок для чулок,
А пудель тихонько
Клубок уволок.
Весь день по квартире
Катал да катал,
Старушку опутал,
Кота обмотал.

* * *

Старушке в подарок
Прислали кофейник,
А пуделю – плетку
И медный ошейник.
Довольна старушка,
А пудель не рад
И просит подарки
Отправить назад.

Константин Георгиевич Паустовский (1892 – 1968)

Прощание с летом

Несколько дней лил, не переставая, холодный дождь. В саду шумел мокрый ветер. В четыре часа дня мы уже зажигали керосиновые лампы, и невольно казалось, что лето окончилось навсегда и земля уходит все дальше и дальше в глухие туманы, в неуютную темень и стужу.

Был конец ноября – самое грустное время в деревне. Кот спал весь день, свернувшись на старом кресле, и вздрагивал во сне, когда темная вода хлестала в окна.

Дороги размыло. По реке несло желтоватую пену, похожую на сбитый белок. Последние птицы спрятались под стрехи, и вот уже больше недели, как никто нас не навещал: ни дед Митрий, ни Ваня Малявин, ни лесничий.

Лучше всего было по вечерам. Мы затапливали печи. Шумел огонь, багровые отсветы дрожали на бревенчатых стенах и на старой гравюре – портрете художника Брюллова. Откинувшись в кресле, он смотрел на нас и, казалось, так же, как и мы, отложив книгу, думал о прочитанном и прислушивался к гудению дождя по тесовой крыше.

Ярко горели лампы, и все пел и пел свою нехитрую песню медный самовар-инвалид. Как только его вносили в комнату, в ней сразу становилось уютно – может быть, оттого, что стекла запотевали и не было видно одинокой березовой ветки, день и ночь стучавшей в окно.

После чая мы садились у печки и читали. В такие вечера приятнее всего было читать очень длинные и трогательные романы Чарльза Диккенса или перелистывать тяжелые тома журналов «Нива» и «Живописное обозрение» за старые годы.

По ночам часто плакал во сне Фунтик – маленькая рыжая такса. Приходилось вставать и закутывать его теплой шерстяной тряпкой. Фунтик благодарил сквозь сон, осторожно лизал руку и, вздохнув, засыпал. Темнота шумела за стенами плеском дождя и ударами ветра, и страшно было подумать о тех, кого, может быть, застигла эта ненастная ночь в непроглядных лесах.

Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох во сне. Я лежал с закрытыми глазами, долго прислушивался и наконец понял, что я не оглох, а попросту за стенами дома наступила необыкновенная тишина. Такую

тишину называют «мертвой». Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. Было только слышно, как посапывает во сне кот.

Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и подошел к окну – за стеклами все было снежно и безмолвно. В туманном небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна, и вокруг нее переливался желтоватый круг.

Когда же выпал первый снег? Я подошел к ходикам. Было так светло, что ясно чернели стрелки. Они показывали два часа.

Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно изменилась земля, за два коротких часа поля, леса и сады заворожила стужа.

Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клена в саду. Ветка закачалась, с нее посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела, а снег все сыпался, как стеклянный дождь, падающий с елки. Потом снова все стихло.

Проснулся Рувим. Он долго смотрел за окно, вздохнул и сказал:

– Первый снег очень к лицу земле.

Земля была нарядная, похожая на застенчивую невесту.

А утром все хрустело вокруг: подмерзшие дороги, листья на крыльце, черные стебли крапивы, торчавшие из-под снега.

К чаю приплелся в гости дед Митрий и поздравил с первопутком.

– Вот и умылась земля, – сказал он, – снеговой водой из серебряного корыта.

– Откуда ты это взял, Митрий, такие слова? – спросил Рувим.

– А нешто не верно? – усмехнулся дед. – Моя мать, покойница, рассказывала, что в стародавние годы красавицы умывались первым снегом из серебряного кувшина и потому никогда не вяла их красота. Было это еще до царя Петра, милок, когда по здешним лесам разбойники купцов разоряли.

Трудно было оставаться дома в первый зимний день. Мы ушли на лесные озера, дед проводил нас до опушки. Ему тоже хотелось побывать на озерах, но «не пущала ломота в костях».

В лесах было торжественно, светло и тихо.

День как будто дремал. С пасмурного высокого неба изредка падали одинокие снежинки. Мы осторожно дышали на них, и они превращались в чистые капли воды, потом мутнели, смерзались и скатывались на землю, как бисер.

Мы бродили по лесам до сумерек, обошли знакомые места. Стаи снегирей сидели, нахохлившись, на засыпанных снегом рябинах.

Мы сорвали несколько гроздей схваченной морозом красной рябины – это была последняя память о лете, об осени.

На маленьком озере – оно называлось Лариным прудом – всегда плавало много ряски. Сейчас вода в озере была очень черная, прозрачная – вся ряска к зиме опустилась на дно.

У берегов наросла стеклянная полоска льда. Лед был такой прозрачный, что даже вблизи его было трудно заметить. Я увидел в воде у берега стаю плотиц и бросил в них маленький камень. Камень упал на лед, зазвенел, плотицы, блеснув чешуей, метнулись в глубину, а на льду остался белый зернистый след от удара. Только поэтому мы и догадались, что у берега уже образовался слой льда. Мы обламывали руками отдельные льдинки. Они хрустели и оставляли на пальцах смешанный запах снега и брусники.

Кое-где на полянах перелетали и жалобно попискивали птицы, небо над головой было очень светлое, белое, а к горизонту оно густело, и цвет его напоминал свинец, оттуда шли медленные, снеговые тучи.

В лесах становилось все сумрачнее, все тише, и наконец пошел густой снег. Он таял в черной воде озера, щекотал лицо, порошил серым дымом леса.

Зима начала хозяйничать над землей, но мы знали, что под рыхлым снегом, если разгрести его руками, еще можно найти свежие лесные цветы, знали, что в печах всегда будет трещать огонь, что с нами остались зимовать синицы, и зима показалась нам такой же прекрасной, как лето.

Михаил Михайлович Пришвин (1873 – 1954)

Лисичкин хлеб

Однажды я проходил в лесу целый день и под вечер вернулся домой с богатой добычей. Снял с плеч тяжелую сумку и стал свое добро выкладывать на стол.

– Это что за птица? – спросила Зиночка.

– Терентий, – ответил я.

И рассказал ей про тетерева: как он живет в лесу, как бормочет весной, как березовые почки клюет, ягодки осенью в болотах собирает, зимой греется от ветра под снегом. Рассказал ей тоже про рябчика, показал ей, что серенький, с хохолком, и посвистел в дудочку по-рябчиному и дал ей посвистеть. Еще я высыпал на стол много белых грибов, и красных и черных. Еще у меня была в кармане ягода костяника, и голубая черника, и красная брусника. Еще я принес с собой ароматный комочек сосновой смолы, дал понюхать девочке и сказал, что этой смолкой деревья лечатся.

– Кто же их там лечит? – спросила Зиночка.

– Сами лечатся, – ответил я. – Придет, бывало, охотник, захочется ему отдохнуть, он и воткнет топор в дерево и на топор сумку повесит, а сам ляжет под деревом. Поспит, отдохнет. Вынет из дерева топор, сумку наденет, уйдет. А из ранки от топора из дерева побежит эта ароматная смолка и ранку эту затянет.

Тоже, нарочно для Зиночки, принес я разных чудесных трав по листику, по корешку, по цветочку: кукушкины слезки, валерьянка, петров крест, заячья капуста.

И как раз под заячьей капустой лежал у меня кусок черного хлеба: со мной это постоянно бывает, что когда не возьму хлеба в лес – голодно, а возьму – забуду съесть и назад принесу.

А Зиночка, когда увидела у меня под заячьей капустой черный хлеб, так и обомлела:

– Откуда же это в лесу взялся хлеб?

– Что же тут удивительного? Ведь есть же там капуста!

– Заячья…

– А хлеб – лисичкин. Отведай.

Осторожно попробовала и начала есть.

– Хороший лисичкин хлеб!

И съела весь мой хлеб дочиста. Так и пошло у нас, Зиночка, копуля такая, часто и белый-то хлеб не берет, а как я из лесу

лисичкин хлеб принесу, съест всегда его весь и похвалит:

– Лисичкин хлеб куда лучше нашего.

Николай Иванович Сладков (1920 – 1996)

Лесные шорохи

Белка и Медведь

– Ау, Медведь! Ты чего по ночам делаешь?
– Я-то? Да ем.
– А днем?
– И днем ем.
– А утром?
– Тоже ем.
– Ну, а вечером?
– И вечером ем.
– А когда же ты не ешь?
– Да когда сыт бываю.
– А когда же ты сыт бываешь?
– А никогда…

Сорока и Заяц

– Вот бы тебе, Заяц, да лисьи зубы!
– Э-э, Сорока, все равно плохо…
– Вот бы тебе, серый, да волчьи ноги!
– Э-э, Сорока, невелико счастье…
– Вот бы тебе, косой, да рысьи когти!
– Э-э, Сорока, что мне клыки да когти! Душа-то у меня все равно заячья…

Одуванчик и Дождь

– Ура! Караул! Ура! Караул!
– Что с тобой, Одуванчик? Уж не заболел ли? Ишь, желтый весь! Чего ты то «ура», то «караул» кричишь?
– Закричишь тут!.. Корни мои рады тебе, Дождю, радешеньки, все «ура» кричат, а цветок «караул» кричит – боится, что пыльцу испортишь. Вот я и растерялся – ура, караул, ура, караул!

Кто как спит

– Ты, Заяц, как спишь?

– Как положено – лежа.

– А ты, Тетерка, как?

– А я сидя.

– А ты, Цапля?

– Я стоя.

– Выходит, друзья, что я, Летучая Мышь, ловчее всех вас сплю, удобнее всех отдыхаю!

– А как же ты, Летучая Мышь, спишь-отдыхаешь?

– Да вниз головой…

Лисица и Ёж

– Всем ты, Ёж, хорош, да вот колючки тебе не к лицу.

– А что, Лиса, я с колючками некрасивый, что ли?

– Да не то чтоб некрасивый…

– Может, я с колючками неуклюжий!

– Да не то чтобы неуклюжий!

– Ну так какой же я такой с колючками-то?

– Да какой-то ты с ними, брат, несъедобный…

Крот и Филин

– Слушай, Филин, неужели ты меня проглотить можешь?

– Могу, Крот, могу. Я такой.

– Неужто и зайчонка протолкнешь?

– И зайчонка протолкну.

– Ну, а ежа? Хе-хе.

– И ежа проглочу.

– Ишь ты! А как же колючки?

– А колючки выплюну.

– Смотри, какой молодец! А Медведь вон на ежа даже сесть боится.

Владимир Григорьевич Сутеев (1903 – 1993)

Под грибом

Как-то раз застал Муравья сильный дождь.

Куда спрятаться?

Увидел Муравей на полянке маленький грибок, добежал до него и спрятался под его шляпкой.

Сидит под грибом – дождь пережидает.

А дождь идет все сильнее и сильнее…

Ползет к грибу мокрая Бабочка:

– Муравей, Муравей, пусти меня под грибок! Промокла я – лететь не могу!

– Куда же я пущу тебя? – говорит Муравей. – Я один тут кое-как уместился.

– Ничего! В тесноте, да не в обиде.

Пустил Муравей Бабочку под грибок. А дождь еще сильнее идет…

Бежит мимо Мышка:

– Пустите меня под грибок! Вода с меня ручьем течет.

– Куда же мы тебя пустим? Тут и места нет.

– Потеснитесь немножко!

Потеснились – пустили мышку под грибок.

А дождь все льет и не перестает…

Мимо гриба Воробей скачет и плачет:

– Намокли перышки, устали крылышки! Пустите меня под грибок обсохнуть, отдохнуть, дождик переждать!

– Тут места нет.

– Подвиньтесь, пожалуйста!

– Ладно.

Подвинулись – нашлось Воробью место.

И тут Заяц на полянку выскочил, увидел гриб.

– Спрячьте, – кричит, – спасите! За мной Лиса гонится!

– Жалко Зайца, – говорит Муравей. – Давайте еще потеснимся.

Только спрятали Зайца – Лиса прибежала.

– Зайца не видели? – спрашивает.

– Не видели.

Подошла Лиса поближе, понюхала:

– Не тут ли он спрятался?

– Где ему тут спрятаться!

Махнула Лиса хвостом и ушла.

К тому времени дождик прошел – солнышко выглянуло.

Вылезли все из-под гриба – радуются.

Муравей задумался и говорит:

– Как же так? Раньше мне одному под грибом тесно было, а теперь всем пятерым место нашлось!

– Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! – засмеялся кто-то.

Все посмотрели: на шляпке гриба сидит Лягушка и хохочет:

– Эх, вы! Гриб-то…

Не досказала и ускакала.

Посмотрели все на гриб и тут догадались, почему сначала одному под грибом тесно было, а потом и пятерым место нашлось.

А вы догадались?

Ирина Петровна ТОКМАКОВА (р. 1929)

Усни-трава

Дальний лес стоит стеной.
А в лесу, в глуши лесной,
На суку сидит сова.
Там растет усни-трава.

Говорят, усни-трава
Знает сонные слова.
Как шепнет свои слова,
Сразу никнет голова.

Я сегодня у совы
Попрошу такой травы:
Пусть тебе усни-трава
Скажет сонные слова.

Саша Чёрный (Александр Михайлович Гликберг)
(1880 – 1932)

Что кому нравится

«Эй, смотри, смотри – у речки
Сняли кожу человечки!» —
Крикнул чижик молодой.
Подлетел и сел на вышке,
Смотрит: голые детишки
С визгом плещутся водой.

Чижик клюв раскрыл в волненьи,
Чижик полон удивленья:
«Ай, какая детвора!
Ноги – длинные болталки,
Вместо крылышек – две палки,
Нет ни пуха, ни пера!»

Из-за ивы смотрит заяц
И качает, как китаец,
Удивленной головой:
«Вот умора! Вот потеха!
Нет ни хвостика, ни меха…
Двадцать пальцев! Боже мой…»

А карась в осоке слышит,
Глазки выпучил и дышит:
«Глупый заяц, глупый чиж!..
Мех и пух, скажи, пожалуй…
Вот чешуйки б не мешало!
Без чешуйки, брат, шалишь!»

Корней Иванович Чуковский (1882 – 1969)

Айболит

1

Добрый доктор Айболит!
Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечиться
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок,
И медведица!

Всех излечит, исцелит,
Добрый доктор Айболит!

2

И пришла к Айболиту лиса:
«Ой, меня укусила оса!»

И пришел к Айболиту барбос:
«Меня курица клюнула в нос!»

И прибежала зайчиха
И закричала: «Ай, ай!
Мои зайчик попал под трамвай!
Мой зайчик, мой мальчик
Попал под трамвай!
Он бежал по дорожке,
И ему перерезало ножки,
И теперь он больной и хромой,
Маленький заинька мой!»

И сказал Айболит: «Не беда!
Подавай-ка его сюда!
Я пришью ему новые ножки,
Он опять побежит по дорожке».

И принесли к нему зайку,
Такого больного, хромого,
И доктор пришил ему ножки.
И заинька прыгает снова.
А с ним и зайчиха-мать
Тоже пошла танцевать.
И смеется она и кричит:
«Ну, спасибо тебе, Айболит!»

3

Вдруг откуда-то шакал
На кобыле прискакал:
«Вот вам телеграмма
От Гиппопотама!»

«Приезжайте, доктор,
В Африку скорей
И спасите, доктор,
Наших малышей!»

«Что такое? Неужели
Ваши дети заболели?»

«Да-да-да! У них ангина,
Скарлатина, холерина,
Дифтерит, аппендицит,
Малярия и бронхит!

Приходите же скорее,
Добрый доктор Айболит!»

«Ладно, ладно, побегу,
Вашим детям помогу.
Только где же вы живете?
На горе или в болоте?»

«Мы живем на Занзибаре,
В Калаха́ри и Саха́ре,
На горе Ферна́ндо-По́,
Где гуляет Гиппопо́
По широкой Лимпопо́.

4

И встал Айболит, побежал Айболит.
По полям, по лесам, по лугам он бежит.
И одно только слово твердит Айболит:
«Лимпопо́, Лимпопо́, Лимпопо́!»

А в лицо ему ветер, и снег, и град:
«Эй, Айболит, воротися назад!»
И упал Айболит и лежит на снегу:
«Я дальше идти не могу!»

И сейчас же к нему из-за елки
Выбегают мохнатые волки:
«Садись, Айболит, верхом,
Мы живо тебя довезем!»

И вперед поскакал Айболит
И одно только слово твердит:
«Лимпопо́, Лимпопо́, Лимпопо́!»

5

Но вот перед ними море —
Бушует, шумит на просторе.
А в море высокая ходит волна,
Сейчас Айболита проглотит она.

«О, если я утону,
Если пойду я ко дну,
Что станется с ними, с больными,
С моими зверями лесными?»

Но тут выплывает кит:
«Садись на меня, Айболит,
И, как большой пароход,
Тебя повезу я вперед!»

И сел на кита Айболит
И одно только слово твердит:
«Лимпопо́, Лимпопо́, Лимпопо́!»

6

И горы встают перед ним на пути,
И он по горам начинает ползти,
А горы все выше, а горы все круче,
А горы уходят под самые тучи!

«О, если я не дойду,
Если в пути пропаду,
Что станется с ними, с больными,
С моими зверями лесными?»

И сейчас же с высокой скалы
К Айболиту слетели орлы:
«Садись, Айболит, верхом,
Мы живо тебя довезем!»

И сел на орла Айболит
И одно только слово твердит:
«Лимпопо́, Лимпопо́, Лимпопо́!»

7

А в Африке,
А в Африке,
На черной
Лимпопо́,
Сидит и плачет
В Африке
Печальный Гиппопо́.

Он в Африке, он в Африке
Под пальмою сидит
И на море из Африки
Без отдыха глядит:
Не едет ли в кораблике
Доктор Айболит?

И рыщут по дороге
Слоны и носороги
И говорят сердито:
«Что ж нету Айболита?»

А рядом бегемотики
Схватились за животики:
У них, у бегемотиков,
Животики болят.

И тут же страусята
Визжат, как поросята.
Ах, жалко, жалко, жалко
Бедных страусят!

И корь, и дифтерит у них,
И оспа, и бронхит у них,
И голова болит у них,
И горлышко болит.

Они лежат и бредят:
«Ну что же он не едет,
Ну что же он не едет,
Доктор Айболит?»

А рядом прикорнула
Зубастая акула,
Зубастая акула
На солнышке лежит.

Ах, у ее малюток,
У бедных акулят,
Уже двенадцать суток
Зубки болят!

И вывихнуто плечико
У бедного кузнечика;
Не прыгает, не скачет он,
А горько-горько плачет он
И доктора зовет:
«О, где же добрый доктор?
Когда же он придет?»

8

Но вот, поглядите, какая-то птица
Все ближе и ближе по воздуху мчится.
На птице, глядите, сидит Айболит

И шляпою машет и громко кричит:
«Да здравствует милая Африка!»

И рада и счастлива вся детвора:
«Приехал, приехал! Ура! Ура!»

А птица над ними кружится,
А птица на землю садится.
И бежит Айболит к бегемотикам,
И хлопает их по животикам,
И всем по порядку
Дает шоколадку,
И ставит и ставит им градусники!

И к полосатым
Бежит он тигрятам,
И к бедным горбатым
Больным верблюжатам,
И каждого гоголем,
Каждого моголем,
Гоголем-моголем,
Гоголем-моголем,
Гоголем-моголем потчует.

Десять ночей Айболит
Не ест, не пьет и не спит,
Десять ночей подряд
Он лечит несчастных зверят
И ставит и ставит им градусники.

9

Вот и вылечил он их,
Лимпопо!
Вот и вылечил больных,
Лимпопо!
И пошли они смеяться,
Лимпопо!
И плясать и баловаться,
Лимпопо!

И акула Каракула
Правым глазом подмигнула

И хохочет, и хохочет,
Будто кто ее щекочет.

А малютки бегемотики
Ухватились за животики
И смеются, заливаются —
Так что ду́бы сотрясаются.

Вот и Гиппо, вот и Поло,
Гиппо-по
по, Гиппо-по́по!
Вот идет Гиппопотам.
Он идет от Занзиба;ра,
Он идет к Килиманджа;ро —
И кричит он, и поет он:
«Слава, слава Айболиту!
Слава добрым докторам!»

Зарубежная литература

Астрид Линдгрен
(1907 – 2002)

Крошка Нильс Карлсон

Бе́ртиль смотрел в окно. Начинало смеркаться, на улице было холодно, туманно и неуютно.

Бертиль ждал папу и маму. Он ждал их так нетерпеливо, что было просто удивительно, почему они не показались вон у того уличного фонаря от одного его ожидания. Обычно возле этого фонаря Бертиль и замечал их раньше всего. Мама приходила намного раньше папы. Но понятно – ни один из них не мог вернуться до того, как кончится работа на фабрике.

Папа и мама каждый день ходили на фабрику, а Бертиль целый день сидел дома один. Мама оставляла ему еду, чтобы он мог перекусить, когда проголодается. Потом, когда мама возвращалась, они садились обедать.

Было ужасно скучно расхаживать целые дни по квартире одному, когда не с кем словом перемолвиться. Конечно, Бертиль мог бы выйти во двор поиграть, но теперь, осенью, погода стояла скверная и на улице никого из ребят не было видно.

Ох, как медленно тянулось время! Игрушки ему уже давным-давно надоели. Да их и было не так много. Книги, те, что были в доме, он просмотрел от корки до корки. Читать шестилетний Бертиль еще не умел.

В комнате было холодно. Папа топил печь по утрам, но к обеду почти все тепло уходило. Бертиль мерз. В углах сгустился мрак, но он и не думал зажигать свет. Было так ужасно грустно, что он решил лечь в кровать и немножко подумать о том, как все на свете грустно.

А ведь ему не всегда приходилось сидеть одному. Раньше у него была сестра, и звали ее Мэ́рта. Но однажды Мэрта вернулась из школы больной. Она проболела целую неделю, а потом умерла. И когда Бертиль подумал о том, что теперь он совсем один, слезы покатились у него по щекам.

И как раз в этот миг он услыхал…

Он услыхал мелкие, семенящие шажки под кроватью. «Неужто у нас водятся привидения?» – подумал Бертиль и свесился через край кровати, чтобы посмотреть.

И тут он увидел, что под кроватью кто-то стоит… да… Этот «кто-то» был точь-в-точь обыкновенный маленький мальчик. Только мальчик этот был совсем малыш – не больше мизинца.

– Привет! – сказал малыш.

– Привет! – чуть смущенно произнес Бертиль.

– Привет! Привет! – снова сказал малыш.

Потом они оба немного помолчали.

– Ты кто такой? – спросил наконец Бертиль. – И что ты делаешь под моей кроватью?

– Меня зовут Крошка Нильс Карлсон, – ответил малыш. – Я живу здесь. Ну, конечно, не прямо под твоей кроватью, а этажом ниже. Войти ко мне можно вон в том углу! – И он указал на крысиную норку под кроватью Бертиля.

– И давно ты здесь живешь? – спросил Бертиль удивленно.

– Нет, всего лишь несколько дней, – ответил малыш. – До этого я жил в лесу Лильянскуген под корнями дерева. Но ты ведь знаешь, к осени надоедает жить в кемпинге{*Ке́мпинг* – лагерь, база для автотуристов.} и хочется назад, в город. Мне здорово повезло, что удалось снять комнатку у крысы, которая переехала к своей сестре в Седертелье. Сам знаешь, как трудно найти маленькую квартирку.

Да, Бертиль об этом не раз слышал.

– Понятно, я снял комнату без всякой мебели, – объяснил Крошка и, немного помолчав, добавил: – Это лучше всего. Во всяком случае, если есть своя собственная…

– А она у тебя есть? – спросил Бертиль.

– В том-то и дело, что нет, – ответил малыш огорченно. Он вдруг съежился. – Б-р-р-р, до чего же внизу у меня холодно! Но у тебя, наверху, не лучше.

– Да, правда, – согласился Бертиль, – я тоже замерз как собака.

– Печь-то в моей комнате есть, – продолжал малыш объяснять. – Но нет дров. Дрова нынче так дороги!

Он обхватил себя руками, чтобы согреться. Потом взглянул на Бертиля большими ясными глазами.

– А что ты целый день делаешь? – спросил он.

– Ничего особенного! – ответил Бертиль. – По правде говоря, просто ничего не делаю!

– Точь-в-точь как я… – сказал Крошка. – Скучно жить одному, ведь правда?

– Еще как скучно, – подхватил Бертиль.

– Хочешь спуститься ко мне вниз на минутку? – предложил малыш.

Бертиль рассмеялся.

– Думаешь, я пролезу в эту норку?

– Это проще простого, – объяснил Крошка. Стоит только нажать на гвоздик, который рядом с норкой, а потом сказать:

Снур-ре, снур-ре, снур-ре, випс!
Малышом ты обернись!

И станешь таким же маленьким, как я.

– Правда? – обрадовался Бертиль. – А я смогу снова стать большим до того, как мама с папой вернутся домой?

– Ясное дело, сможешь, – успокоил его Крошка. – Для этого ты снова нажмешь на гвоздик и еще раз скажешь:

Снур-ре, снур-ре, снур-ре, випс!
Мальчуганом обернись!

– Ну, дела! – удивился Бертиль. – А ты можешь стать таким же большим, как я?

– Увы! Этого я не могу, – вздохнул Крошка. – А все-таки хорошо бы тебе хоть ненадолго спуститься ко мне вниз.

– Ну давай! – согласился Бертиль.

Он залез под кровать, нажал указательным пальцем на гвоздик и сказал:

Снур-ре, снур-ре, снур-ре, випс!
Малышом ты обернись!

И в самом деле! Миг – и он стоит перед крысиной норкой такой же маленький, как Крошка.

– Вообще-то все зовут меня Ни́ссе{Так в Швеции называют домового.}, – еще раз представился человечек и протянул руку Бертилю. – Пошли ко мне вниз!

Бертиль понял: с ним происходит что-то увлекательное и диковинное. Он просто сгорал от любопытства, так не терпелось ему поскорее спуститься в темную норку.

– Спускайся осторожней! – предупредил Ниссе. – Перила в одном месте сломаны.

Бертиль осторожно сошел вниз по маленькой каменной лестнице. Подумать только, он и не знал, что здесь лестница! Она кончалась перед запертой дверью.

– Подожди, я зажгу свет, – сказал Ниссе и повернул выключатель.

К двери была прикреплена визитная карточка, на ней аккуратными буковками было написано:

«Крошка Нильс Карлсон»

Ниссе отворил дверь и повернул другой выключатель.

Бертиль вошел в комнату.

– Здесь не очень-то уютно, – извинился Ниссе.

Бертиль огляделся. Комнатка была маленькая, холодная, с одним окошком и кафельной печью, выкрашенной в голубой цвет.

– Да, бывает лучше, – согласился он. – А где ты ночью спишь?

– На полу, – ответил Ниссе.

– Так тебе же холодно! Б-р-р-р… – содрогнулся от ужаса Бертиль.

– Спрашиваешь! Еще как холодно! Можешь быть уверен. Так холодно, что приходится то и дело вскакивать и бегать по комнате, чтобы не замерзнуть вовсе!

Бертилю стало ужасно жаль малыша. Ему-то самому, по крайней мере, по ночам мерзнуть не приходилось.

И тут Бертилю пришла в голову удачная мысль.

– Какой же я глупый! – сказал он. – Уж дрова-то я могу для тебя раздобыть!

Ниссе быстро схватил его за руку.

– Ты думаешь, тебе это удастся? – живо спросил он.

– Ясное дело, – ответил Бертиль, но огорченно добавил: – Беда только, что мне спички не разрешают зажигать.

– Ничего! Только бы тебе удалось раздобыть дрова, а уж зажечь я их смогу.

Бертиль взбежал вверх по лестнице и нажал на гвоздик… но забыл, что при этом нужно говорить.

– Какие слова надо сказать? – крикнул он вниз малышу.

– Хм, *снур-ре, снур-ре, снур-ре, випс! Мальчуганом обернись!* – ответил Ниссе.

– Хм, *снур-ре, снур-ре, снур-ре, випс! Мальчуганом обернись!* – повторил Бертиль гвоздику.

Но ничего не получилось.

– Тьфу, тебе надо сказать только: *«Снурре, снур-ре, снур-ре, випс! Мальчуганом обернись!»* – закричал снизу Ниссе.

– Только *снур-ре, снур-ре, снур-ре, випс! Мальчуганом обернись!* – повторил Бертиль.

Но опять ничего не получилось.

– Ой, ой! – опять закричал Ниссе. – Ничего, кроме *«Снур-ре, снур-ре, снур-ре, випс! Мальчуганом обернись!»,* тебе говорить не надо!

И тут Бертиль понял наконец, что надо сказать. Он произнес:

Снур-ре, снур-ре, снур-ре, випс!
Мальчуганом обернись!

И он снова стал прежним Бертилем. Все произошло так

быстро, что он даже стукнулся головой о свою кровать.

Быстро-быстро вылез Бертиль из-под кровати и подполз к кухонной плите. Там лежала целая груда обгорелых спичек. Он разломал их на малюсенькие щепочки и сложил возле крысиной норки. Затем снова сделался маленьким и закричал:

– Ниссе, помоги мне перенести вниз дрова!

Ведь теперь, когда он был маленьким, он не в силах был перетащить все эти спички один. Ниссе прибежал вприпрыжку, и они с трудом, помогая друг другу, стащили дрова вниз по лестнице и сложили их в комнате у печки.

Ниссе прямо-таки прыгал от радости.

– Такие дрова – самые лучшие на свете! Да-да, самые лучшие на свете!

Он набил полную печку дров, а те, что остались, аккуратно сложил рядышком в углу.

– Сейчас увидишь, – сказал он.

Ниссе сел перед печкой на корточки и подул на дрова:

– Випс!

Дрова как затрещали, как загорелись!

– Вот это чудо! – обрадовался Бертиль. – И спички не нужны.

– Да-а, – протянул Ниссе. – До чего же расчудесный огонь. Мне ни разу с самого лета не было так тепло.

Они оба уселись на полу перед пылающим огнем и протянули к живительному теплу посиневшие от холода руки.

– А сколько дров еще осталось! – сказал довольный Ниссе.

– А когда они кончатся, я еще достану, – пообещал Бертиль. Он тоже был доволен.

– Нынче ночью я не замерзну, – радовался Ниссе.

– А что ты ешь? – спросил Бертиль немного погодя.

Ниссе покраснел.

– Сегодня-а… – протянул Ниссе. – Сегодня, по-моему, я ничего не ел.

– Но тогда ты до смерти проголодался! – воскликнул Бертиль.

– Да, – немного поколебавшись, ответил Ниссе. – Я страшно проголодался.

– Что же ты, шляпа, сразу не сказал! Я сейчас принесу.

Ниссе чуть не задохнулся от радости.

– Если ты в самом деле раздобудешь мне что-нибудь поесть, я никогда этого не забуду!

Бертиль уже поднимался по лестнице. Быстро-быстро произнес:

Снур-ре, снур-ре, снур-ре, випс!
Мальчуганом обернись!

Быстро-быстро помчался он в кладовую, взял там маленький-премаленький ломтик сыра и маленький-премаленький ломтик хлеба. Потом намазал хлеб маслом, положил сверху котлетку и две изюминки. Все это он сложил рядом с крысиной норкой. Потом снова сделался маленьким и закричал:

– Ниссе, помоги мне перенести вниз еду!

Но кричал он зря, потому что Ниссе уже стоял возле него и ждал.

Они отнесли все припасы вниз. Глаза Ниссе горели, словно звездочки. Бертиль почувствовал, что он тоже голоден.

– Начнем с котлетки! – предложил он.

Котлетка была не меньше головы Ниссе. Они начали есть ее с двух сторон, чтобы посмотреть, кто быстрее дойдет до середины. Первым был Ниссе.

Потом они принялись за хлеб с сыром. Маленький-премаленький ломтик хлеба оказался теперь большим, словно огромный каравай.

А сыр Ниссе решил припрятать.

– Понимаешь, я должен ежемесячно платить крысе коркой сыра. А не то меня просто вышвырнут отсюда.

– Это мы уладим, – успокоил его Бертиль. – Ешь сыр.

И они съели сыр, а после стали лакомиться изюминками.

Но Ниссе сказал, что половину своей изюминки спрячет на завтра.

– Когда я проснусь, у меня будет что пожевать, – объяснил он. – Я думаю лечь возле печки, там теплее.

Тут Бертиль как закричит:

– Придумал! Здорово придумал!

Випс! И он исчез. Его не было довольно долго. Вдруг Ниссе услыхал его крик!

– Иди сюда, помоги мне спустить вниз кровать!

Ниссе помчался наверх. Там стоял Бертиль с самой хорошенькой на свете белой кроваткой. Он взял ее в старом кукольном шкафу сестренки Мэрты. Вообще-то там лежала крохотная куколка, но Ниссе кроватка была нужнее.

– Я захватил для тебя простынку и кусочек зеленой фланели, которую мама купила мне на новую пижаму. Будешь укрываться фланелью вместо одеяла.

– О! – произнес Ниссе. – О! – только и произнес он.

Больше ничего выговорить он не мог.

– И ночную рубашку куклы я тоже захватил с собой, – добавил Бертиль. – Ты ведь не против того, чтобы спать в

кукольной ночной рубашке?

– Конечно, нет, – ответил Ниссе.

– Знаешь, у девчонок сколько разных одежек бывает, – словно извиняясь, сказал Бертиль.

– Зато в такой рубашке тепло, – возразил ему Ниссе и погладил рукой кукольную ночную рубашку. – Я никогда еще не спал в настоящей кровати, – сказал он, – так и хочется сразу же пойти и лечь.

– Давай ложись, – согласился Бертиль. – Мне все равно пора наверх. Того и гляди, придут мама с папой.

Ниссе быстро стащил с себя свою одежду, напялил кукольную ночную рубашку, прыгнул в постель, укутался простынкой и натянул на себя фланелевое одеяльце.

– О! – повторил он. – Я совсем сыт. И мне очень тепло. И я ужасно хочу спать.

– Тогда привет! – сказал Бертиль. – Я вернусь утром.

Но Ниссе уже ничего не слышал. Он спал.

…Назавтра Бертиль не мог дождаться, пока мама с папой уйдут. И чего они там копаются! Обычно Бертиль с грустным видом прощался с ними в прихожей. Но сегодня все было иначе. Не успела в прихожей за ними захлопнуться дверь, как он залез под кровать и спустился к Ниссе.

Ниссе уже встал и затопил печь.

– Это ничего, что я жгу дрова? – спросил он Бертиля.

– Ясное дело, ничего, можешь топить сколько хочешь, – ответил Бертиль и оглядел комнатку.

– Знаешь, здесь надо убрать, – предложил он.

– Да, не помешает, – согласился Ниссе. – Пол такой грязный, словно его никогда не мыли.

Бертиль уже поднимался по лестнице. Щетка для мытья пола и лоханка – вот что ему нужно! В кухне на столике для мытья посуды лежала старая, отслужившая свой век зубная щетка. Бертиль взял ее и отломил ручку. Потом он заглянул в посудный шкаф. Там была маленькая-премаленькая чашечка – мама подавала в ней желе. Бертиль налил в чашечку теплой воды из кастрюльки и положил туда кусочек мыла. Затем оторвал маленький уголок от тряпки, которая лежала в чулане. Все это он, как обычно, сложил возле крысиной норки. Ниссе снова пришлось помочь ему спустить все это вниз.

– Какая большущая щетка! – удивился Ниссе.

– Она тебе здорово пригодится, – сказал Бертиль.

И они начали мыть пол. Бертиль мыл, а Ниссе вытирал пол тряпкой. Вода в чашечке совсем почернела. Зато пол вскоре стал почти чистым.

– Садись сюда, возле лестницы, – пригласил Бертиль. – Тебя ждет сюрприз. Закрой глаза! Не смотри!

Ниссе закрыл глаза. Он слышал, как наверху, в своей квартире, шумит и что-то тащит Бертиль.

– А теперь открой глаза! – предложил Бертиль.

Ниссе так и сделал. И увидел – не больше не меньше: стол, угловой шкаф, два очень красивых креслица и две деревянные скамеечки.

– Такого я еще не видал никогда на свете! – закричал Ниссе. – Ты, верно, умеешь колдовать!

Колдовать Бертиль, конечно, не умел. Всю эту мебель он взял в кукольном шкафу сестренки Мэрты. Он прихватил оттуда и полосатый коврик из лоскутков, который Мэрта соткала на своем кукольном ткацком станке!

Сначала они расстелили коврик. Он закрыл почти весь пол.

– Ой, до чего уютно! – воскликнул Ниссе.

Но стало еще уютнее, когда шкаф занял свое место в углу, стол с креслицами поставили посреди комнаты, а обе скамеечки – возле печки.

– Подумать только, как хорошо можно устроиться! – вздохнул Ниссе.

Бертиль тоже подумал, что здесь хорошо, даже гораздо лучше, чем наверху, в его собственной квартире.

Они уселись в кресла и стали беседовать.

– Да не мешает и себя привести немного в порядок, – сказал Ниссе. – А то я такой ужасно грязный.

– А что, если нам выкупаться? – предложил Бертиль.

Чашечка из-под желе скоро наполнилась чистой, теплой водой, клочок старого рваного махрового полотенца превратился в чудесную купальную простыню, и хотя немного воды на лестнице расплескалось, все же той, что осталась, хватило, чтобы выкупаться.

Бертиль и Ниссе быстро сбросили одежку, залезли в лоханку. Вот здорово!

– Потри мне спину, – попросил Ниссе.

Бертиль сделал это с удовольствием. Потом Ниссе потер спину Бертилю, а потом они начали плескаться водой и пролили воду на пол. Но это не страшно – коврик они отодвинули в сторону, а вода быстро высохла. Потом они завернулись в купальные простыни, уселись на скамеечках возле горящей печки и стали рассказывать друг другу обо всем на свете. Потом Бертиль сбегал наверх, принес сахар и маленький-премаленький кусочек яблока, который они испекли на огне.

Но тут Бертиль вспомнил, что мама с папой должны скоро

вернуться домой, и заторопился натянуть на себя одежку. Ниссе тоже стал одеваться.

– Вот было бы здорово, если бы ты поднялся со мной наверх, – размечтался Бертиль. – Ты бы мог спрятаться у меня под рубашкой, и мама с папой тебя бы не заметили.

Это предложение показалось Ниссе необыкновенно заманчивым.

– Я буду сидеть тихо, как мышонок! – пообещал он.

– …Что случилось? Почему у тебя волосы мокрые? – спросила мама.

Вся семья сидела за столом и обедала.

– А я купался, – ответил Бертиль.

– Купался? – переспросила мама. – Где же ты купался?

– В этой чашечке, – сказал Бертиль и, хихикая, показал на чашечку с желе, которая стояла посреди стола.

Мама с папой решили, что он шутит.

– Как хорошо, что Бертиль опять веселый, – обрадовался папа.

– Да, бедный мой мальчик, – вздохнула мама. – Как жаль, что ты целыми днями один.

Бертиль почувствовал, как под рубашкой у него что-то зашевелилось. Что-то теплое, очень-очень теплое.

– Не расстраивайся, мама, – сказал он. – Мне ужасно весело, когда я один.

И, сунув указательный палец под рубашку, он осторожно погладил Крошку Нильса Карлсона.

Алан Александр Милн
(1882 – 1956)

Баллада о королевском бутерброде

Король,
Его величество,
Просил ее величество,
Чтобы ее величество
Спросило у молочницы,
Нельзя ль доставить масла
На завтрак королю.

Придворная молочница
Сказала: «Разумеется,
Схожу,
Скажу
Корове
Покуда я не сплю!»

Придворная молочница
Пошла к своей корове
И говорит корове,
Лежащей на полу:
«Велели их величество
Известное количество
Отборнейшего масла
Доставить к их столу!»

Ленивая корова
Ответила спросонья:
«Скажите их величествам,
Что нынче очень многие
Двуногие-безрогие
Предпочитают мармелад,
А также пастилу!»

Придворная молочница
Сказала: «Вы подумайте!» —
И тут же королеве
Представила доклад:
«Сто раз прошу прощения

За это предложение.
Но если вы намажете
На тонкий ломтик хлеба
Фруктовый мармелад,
Король, его величество,
Наверно, будет рад!»

Тотчас же королева
Пошла к его величеству
И, будто между прочим,
Сказала невпопад:
«Ах, да, мой друг, по поводу
Обещанного масла…
Хотите ли попробовать
На завтрак мармелад?»

Король ответил: «Глупости!»
Король сказал: «О Боже мой!»
Король вздохнул: «О Господи!»
И снова лег в кровать.
«Еще никто, – сказал он, —
Никто меня на свете
Не называл капризным…
Просил я только масла
На завтрак мне подать!»

На это королева
Сказала: «Ну, конечно!» —
И тут же приказала
Молочницу позвать.
Придворная молочница,
Сказала: «Ну, конечно!»
И тут же побежала
В коровий хлев опять.

Придворная корова
Сказала: «В чем же дело?
Я ничего дурного
Сказать вам не хотела.
Возьмите простокваши,
И молока для каши,
И сливочного масла
Могу вам тоже дать!»

Придворная молочница
Сказала: «Благодарствуйте!»
И масло на подносе
Послала к королю.

Король воскликнул: «Масло!
Отличнейшее масло!
Прекраснейшее масло!
Я так его люблю!»
«Никто, никто», – сказал он
И вылез из кровати.
«Никто, никто», – сказал он,
Спускаясь вниз в халате.
«Никто, никто», – сказал он,
Намылив руки мылом.
«Никто, никто, – сказал он,
Съезжая по перилам, —
Никто не скажет, будто я
Тиран и сумасброд,
За то, что к чаю я люблю
Хороший бутерброд!»

Шарль Перро
(1628 – 1703)

Золушка

Жил когда-то дворянин, который женился вторым браком на женщине столь надменной и столь гордой, что другой такой не было на свете. У нее были две дочери, такого же нрава и во всем походившие на нее. И у мужа тоже была дочь, но только кротости и доброты беспримерной – эти качества она унаследовала от своей матери, прекраснейшей женщины.

Не успели сыграть свадьбу, как мачеха уже дала волю своему злому нраву: ей были несносны добрые качества этой девочки, из-за которых ее родные дочери всем казались еще более противными. Она поручила ей в доме самую грязную работу: падчерица мыла посуду и подметала лестницу, натирала полы в комнате хозяйки и ее дочерей – благородных девиц; спала она под самой крышей, на чердаке, на скверной подстилке, меж тем как сестры ее жили в комнатах с паркетными полами, где стояли самые модные кровати и большие зеркала, отражавшие их с головы до ног.

Бедная девушка терпеливо сносила все и не смела жаловаться отцу, который выбранил бы ее, ибо находился в полном подчинении у жены.

Справив работу, девушка забивалась в уголок камина, садилась прямо в золу, отчего домашние называли ее обычно Замарашкой. Младшая сестра, не такая злая, называла ее Золушкой. Между тем Золушка, хоть и носила скверное платье, была во сто раз красивее, чем ее сестры, щеголявшие великолепными нарядами.

Однажды сын короля решил дать бал и пригласил на него всех знатных особ. Получили приглашение и обе наши девицы, ибо они пользовались почетом в крае. Они очень обрадовались, и все их мысли были только о том, как бы выбрать к лицу платье да прическу. Золушке – новые заботы: ведь это она гладила для сестер белье и крахмалила рукавчики. Только и речи было, что о нарядах. «Я, – сказала старшая, – я надену красное бархатное платье с кружевной отделкой». – «А я, – сказала младшая, – я буду в простой юбке, да зато надену мантилью с золотыми цветами и брильянтовый убор, а такой убор не всюду найдется». Послали за мастерицей-искусницей, чтобы она приладила им чепчики с двойной оборкой, и купили мушек. Сестры позвали Золушку –

спросить ее мнение: ведь у нее был хороший вкус. Золушка дала им самые добрые советы и даже предложила сестрам причесать их, на что они согласились.

Пока она причесывала их, они ей говорили: «Золушка, тебе приятно было бы поехать на бал?» – «Ах, сударыни, вы надо мной смеетесь; это мне не пристало!» – «Да, правда, люди стали бы смеяться, если бы Замарашка поехала на бал».

Другая бы испортила им прическу, но Золушка была добрая, она причесала их как нельзя лучше. Сестры почти два дня ничего не ели – в таком пребывали они восторге. И все же пришлось изорвать больше дюжины шнурков, затягивая их, чтобы талии стали у них потоньше, а сами они все время стояли перед зеркалом.

Наконец счастливый день наступил; сестры уехали, и Золушка долго провожала их глазами. Когда их уже не стало видно, она заплакала. Крестная мать, увидевшая ее в слезах, спросила, что с ней. «Мне хочется… мне хочется…» Она плакала так горько, что не могла договорить до конца. Крестная мать, которая была волшебницей, сказала ей: «Тебе хочется на бал – ведь так?» – «Ах, да», – со вздохом сказала Золушка. – «Будешь умницей? – спросила ее крестная. – Я сделаю так, что ты попадешь на бал». Она отвела Золушку к себе и сказала: «Пойди в сад и принеси мне тыкву». Золушка тотчас отправилась в сад, сорвала самую лучшую тыкву и отнесла ее крестной, а сама и не догадывалась, как это ей тыква поможет попасть на бал. Крестная вычистила тыкву и, оставив лишь корку, ударила ее своей палочкой – тыква тотчас превратилась в прекрасную золоченую карету.

Потом она пошла взглянуть на мышеловку, в которой оказалось шесть мышей, еще живых. Она велела Золушке приотворить дверку, а когда мышки начали выбегать оттуда, она каждой из них коснулась своей палочкой, и каждая мышка превратилась в прекрасную лошадь, так что получилась отличная упряжка в шесть лошадей, серых в яблоках.

Волшебница не знала, из чего ей сделать кучера, но Золушка молвила: «Пойду посмотрю, нет ли в крысоловке крысы, мы из нее сделаем кучера». – «Ты правильно придумала, – сказала крестная, – поди посмотри». Золушка принесла ей крысоловку, в которой были три большие крысы. Волшебница взяла одну из них, ту, у которой были огромные усы, и, прикоснувшись к ней, превратила ее в толстого кучера с отличнейшими усами, какие только бывают на свете.

Потом она сказала Золушке: «Пойди в сад, там за лейкой ты увидишь ящериц. Принеси их мне». Не успела Золушка их

принести, как крестная уже превратила их в шесть лакеев, которые тотчас же стали на запятки: все в пестрых нарядах, они стояли так, словно всю свою жизнь не знали другого дела.

Тогда волшебница сказала Золушке: «Ну что же? Вот теперь ты можешь ехать на бал. Довольна ты?» – «Да. Но разве можно мне ехать в этом скверном платье?» Крестная только дотронулась до нее своею палочкой, и тотчас же платье ее превратилось в наряд, вышитый золотом и серебром и весь усеянный драгоценными камнями; потом она дала ей пару туфелек, отороченных мехом, таких красивых, что красивее и не бывает. Нарядившись таким образом, Золушка села в карету; но крестная наказала ей ни за что не оставаться на балу дольше полуночи и предупредила, что, если она там пробудет одну лишнюю минуту, карета ее снова обратится в тыкву, лакеи в ящериц и что ее новое платье примет свой прежний вид.

Золушка обещала крестной, что непременно до полуночи уедет с бала.

Вот она едет вне себя от радости. Королевский сын, которому сообщили, что приехала какая-то знатная принцесса, никому не известная, поспешил встретить ее. Он подал ей руку, когда она выходила из кареты, и ввел ее в зал, где были гости. Воцарилось глубокое молчание, прекратились танцы и замолчали скрипки, – такое внимание привлекла к себе невиданная красота незнакомки. Слышен был только смутный гул восклицаний: «Ах! Как прекрасна!» Даже сам король, хоть он и был очень стар, все время глядел на нее и шепотом говорил королеве, что давно уже не видал такой милой и красивой особы. Все дамы пристально разглядывали ее головной убор и ее платье, чтобы завтра же обзавестись подобными нарядами, если только окажется такая прекрасная материя и найдутся столь искусные мастера.

Королевский сын усадил ее на самое почетное место, а потом повел танцевать. Танцевала она так мило, что гости еще больше восхитились. Подали превосходное угощение, к которому королевский сын и не притронулся – настолько он был занят своею дамой. Она пошла, села рядом со своими сестрами и осыпала их любезностями; она поделилась с ними апельсинами и лимонами, которые дал ей принц, и это весьма удивило их, ибо они вовсе не были с ней знакомы.

Золушка услышала, как бьет три четверти двенадцатого; она низко присела, прощаясь с гостями, и как можно скорее уехала домой. Вернувшись, она первым делом пошла к крестной, поблагодарила ее, а потом сказала, что ей хотелось бы и завтра поехать на бал, так как сын короля просил ее об этом. Пока она рассказывала крестной обо всем, что было на балу, в дверь

постучались сестры. Золушка пошла отворить им. «Как вы долго!» – сказала она им, зевая, протирая глаза и потягиваясь, как будто проснулась только сейчас, а между тем ей все это время вовсе не хотелось спать. «Если бы ты была на балу, – сказала ей одна из сестер, – ты бы не скучала: там была принцесса-красавица, уж такая красавица, что другой такой нет на свете; она была очень любезна с нами, угостила апельсинами и лимонами».

Золушка была вне себя от радости; она спросила их, как зовут эту принцессу, но они ответили, что ее никто не знает, что королевского сына это очень печалит и что он ничего не пожалеет, лишь бы узнать, кто она. Золушка улыбнулась и сказала им: «Так вот как, – она, значит, очень красивая? Ах, боже мой, какие вы счастливицы! Нельзя ли было б и мне взглянуть на нее? Ах, мадемуазель Жавотта, позвольте мне надеть желтое платье, которое вы носите по будням». – «Право же, это мне нравится! – сказала Жавотта. – Извольте-ка эдакой гадкой Золушке дать свое платье! Я не такая уж глупая!» Золушка и ждала этого ответа и была очень довольна: ведь она оказалась бы в великом затруднении, если бы сестра согласилась дать ей свое платье.

На другой день сестры поехали на бал, и Золушка – тоже, но только еще более нарядная, чем накануне. Королевский сын не отходил от нее ни на минуту и не переставая говорил ей нежные слова. Юная девица не скучала и не думала о том, что наказала ей крестная, как вдруг услышала, что часы начали бить полночь, а она-то думала, что еще нет и одиннадцати; она поднялась и побежала, легкая как лань. Принц бросился за ней, но не смог нагнать. Убегая, она уронила с ноги одну из туфелек, отороченных мехом, и принц заботливо поднял туфельку. Золушка вернулась домой, запыхавшаяся, без кареты, без лакеев, в своем гадком платье; от всего великолепия ей не осталось ничего, кроме одной туфельки – под пару той, которую она уронила. У дворцовых привратников спросили, не видали ли они, как уезжала принцесса; они ответили, что никто не выходил из дворца, кроме молоденькой девушки, одетой весьма плохо и скорее походившей на крестьянку, чем на благородную девицу.

Когда сестры вернулись с бала, Золушка спросила их, хорошо ли они повеселились на этот раз и была ли там вчерашняя красавица; они ответили, что была, но, когда пробило двенадцать, убежала, да так поспешно, что уронила одну из своих туфелек, отороченных мехом, – просто прелесть! – и что королевский сын поднял туфельку и до конца бала только на нее и глядел, и что, наверно, он влюблен в прекрасную особу, которой принадлежит туфелька.

То была правда: всего несколько дней спустя королевский сын велел глашатаям под звуки труб оповестить народ, что он женится на той, кому туфелька придется впору. Стали примерять ее принцессам, потом герцогиням и всем придворным дамам, но напрасно. Пришли с туфелькой и к двум сестрам, которые что было мочи пытались втиснуть ногу в туфельку, но это у них никак не выходило. Золушка, глядевшая на них и узнавшая свою туфлю, засмеялась и сказала: «Дайте-ка я посмотрю – не будет ли она мне впору». Сестры захохотали и стали над ней насмехаться. Дворянин, примерявший туфельку, пристально взглянул на Золушку и, заметив, какая она красивая, сказал, что так и надо и что ему приказано примерять туфельку всем девушкам. Он усадил Золушку и, поднеся туфлю к ее ножке, увидел, что она без труда входит в нее и что туфелька сделана словно по мерке. Велико было удивление сестер, но оно еще более усилилось, когда Золушка вынула из кармана другую туфельку и тоже ее надела. И тогда явилась крестная и, дотронувшись палочкой до платья Золушки, превратила его в наряд еще более великолепный, чем те, что она надевала прошлые разы.

Тут сестры признали в ней красавицу, которую видели на балу. Они бросились к ее ногам, умоляя простить дурное обращение, которое она терпела от них. Золушка подняла их с колен и, обняв, сказала, что от всего сердца их прощает. В том же наряде повели ее к молодому принцу. Она показалась ему еще более прекрасной, и через несколько дней он на ней женился. Золушка, доброта которой могла сравниться лишь с ее красотою, поселила сестер своих во дворце и в тот же день выдала замуж за двух знатных придворных.

Мораль

Бесспорно, красота для женщин сущий клад;
Все неустанно хвалят вид пригожий,
Но вещь бесценная – да нет, еще дороже! —
Изящество, сказать иначе: лад.
Коль фея-кумушка малютку сандрильону
Поставила и обучила так,
Что заслужила золушке корону,
Уж значит, эта сказка – не пустяк.
Красотки, есть дары нарядов всех ценнее;
Но покорять сердца возможно лишь одним —
Изяществом, любезным даром феи:
Ни шагу без него, но хоть на царство с ним.

Иная мораль

Чего уж лучше, знаем сами,
Слыть мудрецами, храбрецами,
Роскошней быть, чем первый франт,
Иметь какой-нибудь талант,
Определенный небесами.
Все это можно заслужить,
Но лучшие дары пребудут бесполезны,
Пока не вздумает за нас поворожить
Хоть кумушка, хоть куманек любезный…

Красная Шапочка

Жила когда-то в одной деревне девочка, до того хорошенькая, что другой такой не было на свете; мать без памяти любила ее, а еще больше любила ее бабушка. Старушка подарила ей красную шапочку, которая так ей шла, что девочку везде называли Красной Шапочкой.

Однажды ее мать напекла лепешек и сказала ей: «Сходи проведай бабушку – я слышала, что она больна. Снеси ей лепешку и горшочек масла». Красная Шапочка сразу же пустилась в путь – пошла к своей бабушке, которая жила в другой деревне. Когда она шла лесом, ей повстречался кум Волк, которому очень захотелось ее съесть, но он не посмел, потому что в лесу были дровосеки. Он спросил, куда она идет. Бедное дитя, не зная, как опасно останавливаться в пути слушать волка, ответило ему: «Я иду проведать мою бабушку и несу ей лепешку да горшочек масла, который ей посылает моя мать». – «А далеко ли она живет?» – спросил Волк. «Да, очень далеко, – ответила Красная Шапочка, – вон за той мельницей, что вы видите там, вдали, – первый дом в деревне». – «Ну, – сказал Волк, – так я тоже пойду проведаю ее; я пойду этой дорогой, а ты пойдешь той, и мы посмотрим, кто придет раньше».

Волк что было мочи бросился бежать дорогой более короткой, а девочка пошла дорогой более длинной и по пути забавлялась тем, что срывала орешки, бегала за бабочками, делала букеты из цветочков, которые попадались ей на глаза.

Немного времени прошло, а Волк очутился уже у бабушкиного дома; он стучит: тук-тук. «Кто там?» – «Ваша внучка, Красная Шапочка, – сказал Волк, изменив свой голос, – несет вам лепешку и горшочек масла, который вам посылает моя мать». Добрая бабушка, лежавшая в постели, потому что не совсем была

здорова, закричала ему: «Потяни щеколду, задвижка и отскочит». Волк потянул щеколду, и задвижка отскочила. Он бросился на старушку и в один миг сожрал ее, потому что уже три дня как ничего не ел. Потом он запер дверь и улегся в бабушкину постель, ожидая Красную Шапочку, которая немного погодя и постучала в дверь – тук-тук. «Кто там?» Красная Шапочка, услышав грубый голос Волка, сначала испугалась, но, вспомнив, что бабушка простужена, ответила: «Ваша внучка, Красная Шапочка, несет вам лепешку и горшочек масла, который вам посылает моя мать». Волк, немножко смягчив свой голос, прокричал ей: «Потяни щеколду, задвижка и отскочит». Красная Шапочка потянула щеколду, и задвижка отскочила. Волк, увидев, что она входит, сказал ей, спрятавшись под одеяло: «Лепешку и горшочек с маслом поставь на сундук, а сама иди, ляг со мной». Красная Шапочка разделась и легла в постель, но тут ее немало удивило, каков у бабушки вид, когда она раздета. Она ей сказала: «Бабушка, какие у вас большие руки!» – «Это чтоб лучше тебя обнимать, внучка!» – «Бабушка, какие у вас большие ноги!» – Это чтоб лучше бегать, дитя мое!» – «Бабушка, какие у вас большие уши!» – «Это чтоб лучше слышать, дитя мое!» – «Бабушка, какие у вас большие глаза!» – «Это чтоб лучше видеть тебя, дитя мое!» – «Бабушка, какие у вас большие зубы!» – «Это чтоб съесть тебя!» И, сказав эти слова, злой Волк бросился на Красную Шапочку и съел ее.

Чеслав Янчарский (1911 – 1971)

В магазине игрушек

Это был магазин игрушек. В магазине на полке стояли и сидели плюшевые мишки. Был среди них один Мишка, который уже очень долго сидел на полке. Другие мишки быстро попадали в ребячьи руки. Улыбаясь, они выходили с детьми из магазина. А про этого Мишку никто и не спрашивал.

Может быть, потому, что он стоял в уголке.

Мишке было грустно. Ему хотелось играть с детьми. И от огорчения у него даже опустилось одно ушко.

– Не беда! – утешал себя медвежонок. – Сейчас, если сказка влетит мне в одно ухо, она не вылетит из другого.

И вот однажды Мишка нашел на полке большой пестрый зонтик. Мишка взял зонтик и смело спрыгнул вниз. Потом он вышел из магазина на улицу. Сперва Мишка немного испугался: на улице были люди и машины. Но вскоре он увидел двоих детей – Зосю и Яцека. И сразу перестал бояться. Дети улыбнулись Мишке.

– Кого ты ищешь, Мишка? – спросили они.

– Я ищу детей.

– Так пойдем с нами.

– Хорошо! – обрадовался медвежонок. И они пошли вместе.

Друзья

Перед домом Зоси и Яцека был двор. Во дворе жили собачка Чернушка и красноперый Петушок.

Мишка вышел погулять. Сразу же к нему подбежала Чернушка. А следом за нею Петушок.

– Здравствуйте! – сказал медвежонок.

– Здравствуй! – ответили Чернушка и Петушок. – Мы видели, как ты пришел сюда с Зосей и Яцеком. Почему у тебя опущенное ушко?

Рассказал Мишка про свое ушко.

– Не горюй, – утешил его Петушок, – а то у тебя опустится и другое. Мы будем называть тебя «Ушастик». «Мишка Ушастик». Ладно?

Медвежонку очень понравилось это. Он захлопал в ладоши и закричал:

– Я теперь Мишка Ушастик! Я теперь Мишка Ушастик!

– А сейчас, Ушастик, мы покажем тебе Зайчика.

Зайчик щипал траву. Сперва Мишка увидел длинные уши. А затем смешно шевелящуюся мордочку. Зайчик испугался Мишки и исчез за забором.

Вскоре он вернулся. Ему было стыдно.

– Ты напрасно испугался, Зайчик, – сказала Чернушка. – Мы познакомим тебя с нашим новым другом. Его зовут Мишка Ушастик.

Ушастик смотрел на пушистые заячьи уши и с грустью думал про свое, отвисшее. И тогда Зайчик сказал Мишке:

– Какое у тебя красивое, опущенное ушко…

Игры

Дети сидят дома – денек уж больно дождливый. Мишка смотрит в окно.

– Сегодня из дому не выйдешь! – сказала Зося. – Давайте играть в прятки!

– Энтличек-пентличек, столик, скатерка, – затараторил Яцек. – Тебе водить! – закричал он Чернушке.

Собачка закрыла глаза и уткнулась головой в кресло.

Зося спряталась за шкаф, Яцек – за высокий стул.

«А куда же спрятаться мне? – думает Мишка. – Придумал!»

Спрятался Мишка за подушку. Зажмурился.

– Можно искать! – кричит.

Чернушка сразу его увидела.

– Ой, ой, глупый Мишка! – смеются над медвежонком дети. – Не мог спрятаться получше?

– И как это Чернушка ухитрилась так быстро меня найти? – удивляется Мишка. – Я-то ее не видел! Я никого не видел!

А когда дождь перестал, Мишка и Чернушка выбежали на крыльцо.

– Поиграем в догонялки? – предложили они Зайчику и Петушку.

– Поиграем!

– Чур, я буду считать! – закричал Зайчик. – Кто выйдет, тот и догоняет.

Энтличек-пентличек,
Столик, скатерка,
А на скатерке
Пряников горка.

– Целая горка пряников? Дайте мне один! – закричал Мишка.

– Что ты, Мишка, – сказал Зайчик. – Никаких пряников у меня нет. Это просто такая считалка.

Мишка облизнулся, ждет, что дальше будет. Словно и не слышал. А Зайчик считает сначала:

Энтличек-пентличек,
Столик, скатерка,
А на скатерке
Пряников горка.
Сахар, помадка,
Ломтик коврижки
И шоколадка
Нашему Мишке!

– Что? Шоколадка? – опять завопил медвежонок. – Дайте мне сейчас же шоколадку! Дайте шоколадку!

– Успокойся, сладкоежка! – смеется Зайчик. – Никакой шоколадки у нас нет.

– Как это – нет? Но ведь ты сам только что сказал: «И шоколадка нашему Мишке!»

– Хватит, Ушастик, не мешай! – сказала Чернушка.

При мысли о шоколадке Мишка проглотил слюни.

– Если вы не отдадите мою шоколадку, – сказал он, – я с вами больше не играю.

Как ему ни объясняли, Мишка так и не понял, что это была игра.